

В номере:

**Полемика**

*Михай Албанец. Тудор Сорочану: Замах – на рубль, удар – на копейку* ..... 3

**200 лет Н.В. Гоголю**

*Рената Смирнова. Секреты биографии Гоголя* ..... 7

**Поэмы**

*В. Алов. «Ганц Кюхельgarten»* ..... 12

**Проза**

*Георгий Каюров. По ту сторону* ..... 21

**Гость номера**

*Александр Трапезников. Письма с фронта, или Девушка-Розмэри* ..... 38

**Легенды старой Ирландии**

*Николай Костыркин. Пёс из Махи* ..... 61

**Литературные исследования**

*Екатерина Васильева. Языковые механизмы создания  
комического эффекта в пародиях Юрия Харламова* ..... 82

*Юрий Харламов (пародии)* ..... 87

**Поэзия**

*Виктория Чембарцева* ..... 89

*Елена Белеванцева* ..... 93

**Детские стихи**

*Наталья Веселова* ..... 97

**Мемуары и воспоминания**

*Нина Ганьшина. Тополя корнями вверх* ..... 99

**Памятники зодчества**

*Наталья Синявская. Дом напуганных призраков* ..... 103

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.  
Выпущено было 10 номеров.

Редактор-издатель Надежда Тодорова в статье «От редакции» писала:

*«Наше поколение должно быть свежо, бодро и здорово, потому что оно может надеяться и верить в лучшую жизнь и обновление в смысле честности, трезвости... На знамени поколения должно быть начертано: Оздоровление. К здоровой, разумной, трезвой и деятельной жизни и будет призывать наш журнал, не признавая партийности, которая ставит рамки, суживает жизнь. Журнал наш будет органом поколения. Он будет как зеркало отражать жизнь, думы и душу поколения».*

*(Из программного заявления «От редакции»)*

Учредитель:

**Козий Александра Петровна**

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

### **Редколлегия:**

Главный редактор:

**Георгий КАЮРОВ**

Редакционный совет:

**З. Чиркова, В. Силкин, А. Торопцев, В. Сундеев, Н. Костыркин**

Литературный редактор:

**Вера Димитрова**

Корректор:

**Галина Поддубная**

Художник:

**Э. Майденберг**

Фотограф:

**Валерий Корчмарь**

Вёрстка:

**Людмила Ильина**

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: [nashepokolenie@pisem.net](mailto:nashepokolenie@pisem.net)

**Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена**

**Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.**

Михай АЛБАНЕЦ

## ТУДОР СОРОЧАНУ: ЗАМАХ – НА РУБЛЬ, УДАР – НА КОПЕЙКУ

**П**ервым отзывом на выход в свет журнала «Наше поколение» была статья Тудора Сорочану «Какого поколения орган?», появившаяся на страницах газеты «Независимая Молдова». Поскольку автор изложил свои чрезвычайно субъективные и тенденциозные «размышления по поводу», редакция журнала решила не отвечать на этот, мягко говоря, выпад.

На таком решении особенно настаивал главный редактор Георгий Каюров. Оно и понятно: значительная часть статьи – это по сути откровенная «разборка» лично с ним. Отвечать в печати на очевидную нелепицу Каюров посчитал неуместным – руководствуясь принципом: «собака лает, а караван идет».

Однако обстоятельства изменились. За очень короткий срок у журнала появились свои заинтересованные читатели и новые перспективные авторы, которые задают вопросы, просят разъяснений.

Значит, Тудору отчасти удалось бросить тень на новорожденное издание. Но Сорочану и его сподвижникам «сорочанистам» показалось этого мало, и они «родили» еще один «выпад», уже чисто хамский и направленный в адрес Георгия Каюрова лично. Даже фотографию себя, любимого, поместил. Правильно, Тудор! «Страна должна знать своих героев!» От подобных выпадов может пострадать начатое дело. Хорошее, полезное дело! Тут уж, сами понимаете, не до редакторской щепетильности. На публичный вызов вынуждены отвечать публично.

Заранее хочу извиниться за цитаты из автора «размышлений», но без них, боюсь, не всем читателям будет понятно.

В стиле самого Сорочану начну с приятного. Радует, что материал написан на добротном, профессиональном русском языке, а сегодня это, согласитесь, редкость в среде молдавских журналистов. Редакторы не дадут соврать. С сочувствием отмечен «испытываемый русскоязычным населением Республики Молдова литературный голод». Во врезке Сорочану почтительно дарит по фразе ряду авторов журнала (привожу их в его последовательности – **прим. М.А.**): Ион Друцэ, Зинаида Гурская, Константин Старыш, Борис

Мариан. Тут, собственно, приятное и заканчивается. И если трое из приведенных авторов известны, то не могу понять, кто такая Гурская? Чем это она осватила молдавскую литературу? Может быть, у Сорочану личные привязанности к Гурской?

Эти известные имена на страницах журнала, пишет он дальше, появились «наряду с другими, менее известными, если не сказать вообще неизвестными». Кто же попал в их число и о ком умолчал наш «размышлист»? Да «всего-навсего» Александр Милях и Юрий Харламов, Елена Шатохина и Виктор Сундеев... А если бы Сорочану глянул чуть дальше фигуры Гурской, то заметил бы, что и популярность писателя Каюрова в Молдове достойна внимания.

Переходя на развязанный тон Сорочану, скажу: Полноте, Тудор! Если, как говорится, «не в теме», то зачем огород городить? Впрочем, о чем это я? Для того, видимо, и подрыжался, чтоб огороды городить! И он их отважно городит. Сначала – глухое ворчание об «очень некачественной бумаге», на которой издан журнал. Вероятно, Сорочану трудно сообразить, что это в лучших русских традициях – печатать на простой бумаге, подчеркивая значимость текстов. Ну, не обязан Сорочану знать о русских литературных традициях. Хочу задать простой вопрос: что важнее для автора, годами не имеющего возможности опубликоваться – быть напечатанным на обычной газетной бумаге или ненапечатанным на суперпуперглянцевой!?

И не надо связывать, г-н «размышлист», высказывание Каюрова – «журнал стремится стать лучшим массовым литературным периодическим изданием в Молдове» – с качеством бумаги или дизайном. Каюров говорит, в первую очередь, о качестве произведений. О содержании журнала, а дизайн, как говорится – на вкус и цвет товарищей нет!

Как раз с оценкой содержания у Тудора совсем плохо. Что-то из области Зигмунда Фрейда. Судите сами. Сорочану пишет: «Подчеркиваю, речь не о качестве самих литературных произведений (то есть содержание его устраивает – **прим. М.А.**), а о внешнем облике и форме подачи этих произведений. Может, именно поэтому первая

радость от его появления в свет очень быстро омрачалась по мере знакомства с содержанием» (здесь содержание его уже не устраивает – прим. М.А.) Круто! Бешеная пляска сознательного и бессознательного в невыносимой тесноте одного абзаца!

Но это – сущая безделица по сравнению с тем, что начинает вытворять «журналист и газетчик» дальше. Тут от фрейдистских терминов придется перейти к терминам из Уголовного Кодекса: «шулерство», «мошенничество», «подлог» и т. д. Цитирую: «Радость сменилась разочарованием от первой же страницы обложки. То ли я чего-то недопонимаю, то ли уровень «продвинутой» не тот, но мне абсолютно непонятна надпись – «орган нашего поколения». Позвольте вас спросить, г-н Каюров, какой именно орган и какого поколения? Если это всего лишь поэтический трюк или метафора, то, смею заметить, не очень удачный – от него веет несколько неэстетической похабщиной».

О, какая убийственная ирония! Как «одним махом всех побивахом»! Но посмотрите на обложку журнала, и вы увидите несколько иной подзаголовок – «ПЕЧАТНЫЙ орган нашего поколения». Теперь скажите, уважаемые читатели, от сочетания «печатный орган» на вас веет «неэстетической похабщиной»? Уверен, что нет, поскольку «печатный орган» – общепринятое определение. Но Сорочану, большому, как, видимо, вы уже догадались, эстету, так хотелось этой самой «похабщины», так хотелось «умыть» и выставить на посмешище создателей журнала, что он слово «печатный» по-шулерски выбросил: оно мешало ядовитой шутке. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. По-видимому, у Сорочану – болит орган!

Тем же манером «размышлист» не заметил в верхней части второй страницы журнала информацию о том, что журнал «Наше поколение» основан в 1912 году, вышло 10 номеров. И приведена выдержка из программного заявления тогдашнего редактора – издателя Надежды Тодоровой. Прочти ее Сорочану, и многие вопросы у него отпали бы сами собой. В частности, Тодорова, не боясь упрека в «похабщине», прямо пишет: «Журнал наш будет органом поколения». И обратите внимание, Сорочану, что сто лет назад подобное трактование ни у кого не вызвало, как у вас, анатомической озабоченности. Но прости-

те, Сорочану, тогда в вашем присутствии и словосочетание член партии опасно употреблять, неизвестно, какая похабщина придет вам в голову?

Каюров, продолжая традицию, лишь немного изменил эту фразу и сделал ее журнальным подзаголовком, вывел в концепцию журнала. И, как мне кажется, очень удачную. Возможно, «большого эстета» не устраивает повторение названия журнала в подзаголовке. Но повтор в литературе часто используют для усиления впечатления. В данном же случае надо Сорочану и его советчикам-сорочанистам учить русский язык. «Это же элементарно, Ватсон», – говаривал в таких случаях Шерлок Холмс.

Но со знанием элементарного у «журналиста и газетчика» настолько плохо, что возникает мысль о вопиющем невежестве. Если только автор сознательно не притворяется «шлангом». В обоих случаях можно говорить об острой интеллектуальной недостаточности.

Далее в статье «с ученым видом знатока» Тудор изрекает: «А если говорить серьезно и рассматривать этот вопрос с издательской точки зрения, то всем известно, что подобное издание просто обязано кому-то принадлежать – будь то Союз писателей Молдовы или Союз журналистов, а принадлежать всему нашему поколению невозможно».

Это просто, извините, тоталитарная отрыжка. Мы не в советское время живем, Сорочану. Посмотрите на календарь. Частному лицу или лицам Конституция Республики Молдова гарантирует ту же свободу слова и самовыражения, что и любой организации, включая названные бедствующие Союзы. И Минюст самим фактом регистрации журнала на частное лицо подтвердил эту важнейшую демократическую аксиому!

Потом, почему вы решили, что «печатный орган нашего поколения» собирается принадлежать всему поколению!? Из чего вы это вывели? Подобных утверждений в журнале нет. Всему поколению, неуважаемый «газетчик и журналист», принадлежат все без исключения печатные издания, ТВ, радио и т.д. и т. п. Неужели и это для вас новость, г. Сорочану!?

Чтобы вам была понятней глупость, которую вы сморозили, то, следуя вашей логике, не должен, к примеру, выходить журнал

с названием «Молдова», так как он не в состоянии отразить всей жизни Молдовы, а отражает в основном ее достижения! Очнитесь, Тудор! Очнитесь, сорочанисты!

Но куда там! Сорочану только набирает обороты, на глазах превращаясь в некое подобие старорежимного дознавателя. Кем является женщина – учредитель издания? В каких писательских организациях состоит Каюров? Уж не числится ли он случайно в Союзе писателей Приднестровья?

Ключевое слово произнесено. Выдвигаются главные обвинения против Каюрова. Цель проста: любыми средствами доказать, что он никак «не тянет» на должность главного редактора журнала. «Все дело в том, – пишет “размышлист”, – что в одном из номеров альманаха “Край городов”, изданного в 2008 году в России (тиражом 250 экз. – **прим. М.А.**), вы, господин Каюров, утверждаете буквально следующее: “В рамках Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова прошел «круглый стол» русских писателей России, Приднестровья и Молдовы... На Дни приехали писатели Приднестровья”. Ни больше, ни меньше. Приднестровье даже “шагает” впереди Молдовы как известное в мире государственное образование. С каких это пор, господин главный редактор, Приднестровье является для Вас отдельным государством?»

Для начала отмечу потрясающую осведомленность г. Сорочану в современной русской литературе. Альманах «Край городов» неизвестен даже многоопытным российским литературоведам. Похоже, Тудор прочно связан не только с печатными органами...

А теперь оцените, уважаемые читатели, что пытается «пришить» Каюрову наш «большой эстет»? Чуть ли не измену Родине! Чувствуете, как разит гэлэушным духом?! Я, например, чувствую.

Да-а, замах у Сорочану был на рубль, но удар получился на копейку! Опять невежество подвело. Хочет или нет наш «газетчик и журналист», но Приднестровье по определению не может быть отдельным государством. Приднестровье – понятие чисто географическое (такое же, как и «Транснистрия», «восточные районы Молдовы», но россиянам это долго объяснять – **прим. М.С.**). А непризнанным государством, запомните это, Тудор, является Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Если бы Каюров сказал «пи-

сатели России, ПМР и Молдовы», вы могли бы обвинить его в политической неблагонадежности. А так – бах-бах! – и мимо! Попутно вопрос: а что, г-н Сорочану, Приднестровье – это вражеская территория и оттуда не стоит приглашать писателей?

Заряд праведного гнева вызвало еще одно высказывание главного редактора в том же альманахе (журнал уже забыт): «В Молдову (в советское время – **прим. М.А.**) пришло распоряжение партии об организации Союза писателей Молдовы. Кинулось тогдашнее руководство республики, а где взять писателей? Из пальца их не высосешь. Полетели в Молдову выпускники московских, ленинградских вузов и засели за вирши местных авторов. Одним росчерком пера вы выкинули за борт Василе Васиlake, Иона Друцэ, Григоре Виеру, Аурелиу Бусуйока и многих других представителей национальной культуры и мастеров художественного слова».

Страшное обвинение, не правда ли? Но и тут невежество и ложь по-шулерски переплетены. Конечно, Каюров выразился обобщенно. Но по сути верно. Вот факты. В 1934 году был создан Союз писателей СССР. Создан по постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. И основным советом при правлении СП СССР стал совет по литературам союзных республик. Как вы думаете, г. Сорочану, чем он занимался? Если отрицать помощь «старших товарищей» в виде правки, вплоть до переписывания рукописей, тогда надо признать, что молдавские писатели самостоятельно овладели методом социалистического реализма (единственного в СССР). Иначе говоря, они изначально были верными марксистами-ленинцами. Зачем вы так тяжело оскорбляете отцов-основателей, г. Сорочану!? Все было по-другому. Что подтверждает постановление Бюро ЦК ВКП(б) Молдавии от 22 ноября 1948 года «О состоянии молдавской литературы и мерах ее улучшения». Можете ознакомиться с ним. Для общего развития.

Теперь об авторах, которых «одним росчерком пера» якобы «выкинул за борт»? (?) Георгий Каюров. Если их и правили, то исключительно свои, местные «старшие товарищи», уже прошедшие суровую школу соцреализма. Дело в том, что их дебютные книги вышли в период с 1957 по 1963 годы, в пору «хрущевской оттепели», когда отпала необходимость обязательного прославления «отца

народов». Кстати, Ион Друцэ из-за конфликта с молдавскими властями того периода покинул Молдавию и переехал в Москву, где и проживает поныне. Для справки: молдавская советская литература возникла в середине 20-х годов. На территории, крепитеcь, Тудор, нынешнего Приднестровья.

Так что не знаете вы, г. Сорочану, недавней истории родной литературы. Или сознательно искажаете ее. Но хрен, как известно, редьки не слаще.

Ту же интеллектуальную недостаточность демонстрирует Тудор и в области молдавского кино. Из справедливого замечания Каюрова, что молдавский кинематограф, как и другие национальные кинематографии, был создан в СССР не по экономическим, а по идеологическим соображениям, наш «размышлист» почему-то выводит, что тем самым главный редактор «списывает со счетов таких всемирно известных мастеров, как Эмиля Лотяну, Влада Йовицэ и создателей легендарного «Атамана Кодр». Вы бы посоветовались с одним из патриархов молдавской кинокритики В. Андоном, прежде чем писать эти глупости на всю Россию (тираж альманаха, напомним, 250 экз. – прим. М.А.) и чернить Молдову подобным нигилизмом!» И чуть ниже: «Да и россияне хорошо знают, что такое “Табор уходит в небо”».

Позорит Каюров Молдову «на всю Россию», и все тут! Но если бы сам Сорочану проконсультировался с В. Андоном, тот никогда бы не подтвердил всемирной известности Влада Йовицэ, сценариста и режиссера действительно талантливого. А от реплики «про россиян» и «Табор уходит в небо» наверняка предложил бы отказаться. Фильм «Табор уходит в небо» был снят на «Мосфильме» штатным режиссером этой киностудии Эмилем Лотяну. И по всем канонам является российским! Чего ж россиянам своего-то не знать! А если б В. Андон «был в курсе», как не любит Сорочану, чтоб молдавских творцов кто-то когда-то чему-то учил, он бы и «Атаман Кодр» посоветовал не упоминать. Создателями легендарной картины были режиссеры-постановщики О.Улицкая (Украина) и Б. Рыцарев (Россия), оператором-постановщиком В. Дербенев (Россия).

После всех невразумительных поучений

и высосанных из пальца левой ноги обвинений наш слабо образованный «размышлист» вновь вспомнил про журнал и сел на своего любимого конька: «Оставив в покое вопрос эстетики, позволю напомнить об этике. А законы этики, на мой взгляд, диктуют одно неписаное правило: такой мастер литературного слова, как Ион Друцэ, вряд ли заслуживает размещения в журнале его произведений на 52-й странице».

Посмотри г. Сорочану хотя бы мельком на обложку журнала, он бы убедился, что этическая норма соблюдена: имя Иона Друцэ стоит первым. И если бы мастер, известный как прозаик и драматург, доверил бы журналу публикацию своих прозаических или драматургических произведений, ими, смею вас заверить, открывался бы номер. А небольшая стихотворная баллада Друцэ помещена в разделе «Поэмы». И думаю, что самого мастера, в отличие от нашего «большого эстета и этика», это не шокировало. Он же не «свадебный генерал» и непомерными амбициями, насколько мне известно, не страдает.

Надеюсь, уважаемые читатели, я не слишком утомил вас таким подробным разбором опуса Т. Сорочану. Но это надо было сделать, потому что он в некотором роде типичен. К сожалению, за ним проглядывает целая группа сорочанистов с диким апломбом, безапелляционных, не обремененных интеллектом, способных, не утруждая себя доказательствами и аргументами, исказить, перевернуть, подтасовать все что угодно. Был бы только соответствующий заказ. Свобода слова понимается ими как вседозволенность. И, слава Богу, что само время их выводит.

В связи с этим хочу обратиться к главному редактору газеты «Независимая Молдова» Юрию Тищенко. Скажите, г-н Тищенко, в правительственном издании, которым вы руководите, принято проверять острые критические материалы? Или работа редакции ведется по поговорке – «вали кулем, там разберем»? И еще: попытка разнести в пух и прах первый номер издания русского национального меньшинства – это установка правительства или ваша личная инициатива? Наконец, существуют ли для вас такие понятия, как «журналистская этика» и «обыкновенная порядочность»?



Рената СМИРНОВА

## СЕКРЕТЫ БИОГРАФИИ ГОГОЛЯ

**В** Институте рукописей при Национальной библиотеке имени В.Вернадского НАН Украины в Киеве в отделе «Гоголиана» хранятся уникальные документы о семье и предках великого писателя. В 1920 году их передал на хранение Василий Головня, сын младшей сестры Николая Васильевича. Сохранился лист из метрической книги Спасо-Преображенской церкви местечка Великие Сорочинцы Миргородского повета Полтавской губернии. В нём записано: «Марта 20. У помещика Василя Яновского родился сын Николай и окрещён 22-го».

Сохранились листы «Ведомости учеников 1 класса высшего отделения Полтавского поветового училища за 1819 год». В этом списке под номером 40 значится Николай Яновский, под номером 41 — его младший брат Иван Яновский, который вскоре умер.

В Институте рукописей имеются страницы «Дневника», заполненные рукой классных учителей Нежинского лицея в 1821 году. Фамилия непоседливого 12-летнего Николая Яновского чаще других упоминается среди пансионеров, которые «получили достойное наказание за их худое поведение» и оставлены без обеда.

В 1984 году был восстановлен дом родителей в селе Гоголево Шишацкого района Полтавской области. В экспозиции находится копия «Ревизской сказки» (переписи населения) за 1782 год по хутору Купчин, которым владел дед писателя — Афанасий Демьянович Яновский, получивший это имение как приданое за своей женой.

Вскоре усадьба стала именоваться Яновщиной, а позже по имени единственного сына Василя Афанасьевича (будущего отца Н.В.Гоголя) Васильевкой. В народе до сих пор сохранились эти два названия.

В экспозиции музея есть копия «Послужного списка А.Д.Яновского» за 1788 год. В нём сказано, что дед Николая Гоголь родился в 1738 году. Выходец из польской шляхты. Окончил Киевскую духовную академию. Свободно владеет пятью языками: русским, латинским, греческим, немецким и польским. Служил в Генеральной войско-

вой канцелярии на должности полкового писаря. (Сегодня это соответствует должности начальника штаба военной части полка. — **Р.С.**) Вышел в отставку в звании секунд-майора.

Впервые фамилия деда писателя с прибавкой «Гоголь» появилась в «Дворянской грамоте», которую он получил 15 октября 1792 года. В эту книгу записывали только коренных дворян, а не тех, кто приобрел это звание за военные, государственные заслуги или по нобилитации 1661 года.

В Санкт-Петербурге многие литераторы знали юного гения Украины под двойной фамилией или просто как Яновского. 22 февраля 1831 года Петр Плетнёв писал Александру Сергеевичу Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью ОООО, также в «Литературной газете» — «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из мало-российской повести «Учитель». Их написал Гоголь-Яновский... Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение...»

Близкий друг и постоянный корреспондент Котляревского, литератор Орест Сомов сообщил 9 ноября 1931 года Михаилу Максимовичу: «Я познакомил бы вас, хотя заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком — Пасечником Паньком Рудым, издавшим "Вечера на хуторе", т.е. Гоголем-Яновским, которому дуралей и литературный невежда и урод Полевой решил сказать: "Вы, сударь, москаль, да ещё и горожанин... Неправда ли, что Полевой совершенно оправдал басню Крылова: Осёл и Соловей?"».

Знаменитый русский поэт Евгений Баратынский, получив от 22-летнего Гоголя экземпляр повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» с автографом, сразу же написал в апреле 1832 года в Москву литератору Ивану Киреевскому: «Я очень благодарен Яновскому за подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Ещё не было у нас автора с такою весёлою весёлостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский

— человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нём виден наблюдатель, и в повести своей "Страшная месть" он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает моё чувство к Яновскому».

6 февраля 1832 года Николай Васильевич отправил из Санкт-Петербурга в родную Васильевку весточку своей матери Марии Ивановне Гоголь-Яновской, урожденной Косяровской: «Ваше письмо от 19 января я получил. Очень жалею, что не дошло ко мне письмо ваше, писанное по получении вами посылки. В предотвращение подобных беспорядков впредь прошу вас адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность. Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского, и почтальоны всегда почти затрудняются отыскивать меня под эту вывеску».

С тех пор все свои произведения и письма к родным и знакомым писатель подписывает только первой украинской частью своей фамилии — Гоголь.

Хорошо известно, что в 1833 году Гоголь хотел занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете, который только начали организовывать. В декабре он пишет из Санкт-Петербурга своему другу Михаилу Максимовичу, вскоре ставшему первым ректором этого университета: «... туда, туда! В Киев, в древний прекрасный Киев! Он наш, он не их, — не правда? Там или вокруг него деялись дела страны нашей... Да, это славно будет, если мы займём с тобою киевские кафедры, много можно будет наделать добра. А новая жизнь среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми силами...»

Но после восстания 1831 года в Варшаве (одним из руководителей которого был генерал В.Яновский) в Российской империи было строго запрещено брать поляков на государственную службу. Попечитель Киевского учебного округа вычеркнул Гоголь-Яновского из списка представленных на рассмотрение кандидатур будущих

преподавателей университета. Ему были известны польские корни писателя. Знал он и то, что его мать, Мария Косяровская, до 14 лет воспитывалась в доме родителей своего двоюродного брата — генерал-майора Андрея Трошинского, женатого на внучке последнего короля Польши Станислава Понятовского.

О польских корнях Гоголя замалчивали пятьдесят лет. Только в 1902 году в «Полтавских Губернских Ведомостях» №36 в статье «К вопросу о предках Гоголя» было коротко сказано, что род Гоголь-Яновских ведёт своё начало от Ивана Яковлевича (фамилии в документе нет), выходца из Польши, который в 1695 году был назначен к Троицкой церкви г.Лубён «викарным священником, ... Продолжателем рода и преемником духовной власти был его сын Дамиан Иоаннов Яновский, священник кононовской Успенской церкви. Далее родословная Яновских идёт по двум параллельным линиям: 1) Сын о.Дамиана — Афанасий Дамианович, уже Гоголь-Яновский, секунд-майор, сын его Василий, внук Николай, писатель; 2) Кирилл Дамианович, священник кононовской церкви; его дети: Меркурий и Савва, оба священника...»

Николай Гоголь по линии его бабушки со стороны отца Татьяны Лизогуб был кровно связан со знатными казацкими родами Украины времён гетманщины. Он был потомком наказного гетмана Михаила Дорошенко и Правобережного гетмана Петра Дорошенко, потомком наказного гетмана Якова Лизогуба и Левобережного гетмана Ивана Скоропадского. Он внук секунд-майора Афанасия Гоголь-Яновского и офицера лейб-гвардии Измайловского полка Ивана Косяровского. По женской линии — в родстве с Мазепой, Павлом Полуботко и Семёном Палием.

Но биографам Гоголя его высокое родство показалось недостаточным. Известный писатель, историк, критик и фольклорист Пантелеймон Кулиш в своей книге «Записки о жизни Н.В. Гоголя» (СПб. 1856 год) счёл возможным назначить в предки гения как основоположника рода Остапа Гоголя — сподвижника гетмана Петра Дорошенко. Биограф сообщает, что этот полковник в 1674 году сдал свою Могилевскую крепость Речи Посполитой и перешёл на служ-



бу к польскому королю Яну Казимиру, за что получил от него деревню Ольховец.

Необходимо подчеркнуть, что, во-первых, в летописях упоминается Евстафий Гоголь, а не Остап Гоголь — собирательный художественный образ писателя. А во-вторых, король за шесть лет перед тем отрёкся от престола и поэтому не имел ни права, ни возможности раздавать кому-либо земли.

В полемику с первым биографом вступил знаменитый украинский историк Михаил Максимович: «Господин Кулиш от себя даёт в предки нашему поэту известного полковника и гетмана Евстафия Гоголя. Такая замена одного лица другим показывает своевольное обхождение с историческим актом. Дед поэта, Афанасий Демьянович, конечно, лучше Р.Кулиша знал своего деда Андрея Гоголя и не отказался бы от него ни для какого софамильца».

В августе 1850 года Максимович две недели гостил у Гоголя в Васильевке и читал подлинные документы о предках гения, впоследствии утерянные.

«Что касается предков Гоголя по женской линии, то полковник переяславский Василий Танский происходил от известной польской фамилии этого имени и оставил Польшу в то время, когда Петр Великий вооружился против претендента на польский престол Лещинского», — сообщает Пантелеймон Кулиш в своей книге. Танский обратил на себя внимание царя своей храбростью, отвагой и умом в шведскую кампанию. Он был высокообразованным человеком, владел иностранными языками, в том числе французским и латинским. Писал драмы.

В 1742 году внук гетмана Ивана Скоропадского Семён Лизогуб обвенчался с дочерью полковника Танского — Анной. А через год у них родилась Татьяна Лизогуб, бабушка Гоголя.

Сегодня, наперекор документам, все исследователи пишут, что Василий Танский по национальности волох или просто «чужеземец». А полковник Остап Гоголь — является предком гения.

О польских корнях Николая Васильевича знали все его современники. Знала это и княгиня Зинаида Волконская, которая познакомилась с Гоголем в Риме в 1837 году. В конце декабря 1838 года на вилле

Волконской устроили публичное чтение автором «Ревизора» в пользу бедного украинского художника Ивана Шаповалова. Княгиня была фанатичной католичкой, одержимой страстным желанием и других вовлекать в лоно римской церкви. Она мечтала обратить в «истинную веру» и своего взрослого сына, и Гоголя, для чего стала каждый день приглашать к себе в дом писателя и ксёндзов — польских эмигрантов Петра Семененко и Иеронима Кайсевича, участвовавших в восстании Польши 1830—1831 годов. Осенью 1837 года с подложными паспортами они нелегально прибыли в Рим, чтобы вербовать приверженцев своему учителю Богдану Яньскому, другу Мицкевича, основавшему в Париже новый католический монашеский орден. Свою задачу религиозное братство видело в том, чтобы способствовать духовному возрождению и сплочению эмиграции для продолжения борьбы.

Иероним Кайсевич записал в «Дневнике»: «Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, совершил даже благополучное путешествие в Париж, чтобы познакомиться с Мицкевичем и Богданом Залесским».

17 марта 1838 года Петр Семененко из Рима сообщал своему учителю Богдану Яньскому: «Возвращаемся с обеда у княгини Волконской в сообществе её, а также одного из наилучших современных писателей и поэтов русских, Гоголя, который здесь появился. В разговоре он нам очень понравился. У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней... Понятно, беседовали мы о славянских делах. Гоголь оказался совершенно без предрассудков и даже, может быть, там, в глубине очень чистая таится душа. Умеет по-польски, т.е. читает. Долго говорили о “Небожественной Комедии”, о “Тадеуше” и пр... Гоголь сказал нам, что читает Мерославского и что он ему нравится... Сего ради мы ему — о Вротновском и Мохнацком. Последнего ради языка и стиля. Это особенно увлекло Гоголя, ибо он хотел бы проникнуться силою польского языка».

Оба миссионера старались создать у руководителя парижского братства впечатление, что шаг до перехода в католичество Гоголю оставался буквально один. Его сочувствие к борьбе поляков за свою свободу, любовь к их литературе монахи истолковали превратно.

7 апреля И.Кайсевиц и П.Семененко сообщают Богдану Яньскому: «Гоголь недавно посетил нас, назавтра мы его. Мы беседовали у него на славянские темы. Что за чистая душа! Можно про него сказать с господом: «недалёк ты от царствия божия!» Много говорили об общей литературе... Удивительное он нам сделал признание. В простоте сердца он признался, что польский язык ему кажется гораздо звучнее, чем русский. «Долго, — сказал он, — я в этом удостоверился, старался быть совершенно беспристрастным — и в конце концов пришел к такому выводу». И прибавил: «Знаю, что повсюду смотрят иначе, особенно в России. Тем не менее мне представляется правдой то, что я говорю», о Мицкевиче с величайшим уважением».

12 мая из Рима Иероним Кайсевиц пишет Б.Яньскому: «С божьего соизволения, мы с Гоголем очень хорошо столкнулись. Удивительно: он признал, что Россия — это розга, которою отец наказывает ребенка, чтоб потом её сломать. И много-много других очень утешительных речей. Благодарите и молитесь...»

Последнее письмо польских монахов к своему патрону, в котором упоминается имя Гоголя, помечено 25 мая 1838 года: «...Гоголь — как нельзя лучше. Мы столкнулись с ним далеко и широко... Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину. Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: «У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознёс вас и оживил. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это вещь нигде неслыханная!»

Однако вскоре монахи, удостоверившись, что обратиться в католичество гениального украинского писателя — затея безнадежная, прекратили с ним встречи и

всякие разговоры о религии. Все предки Гоголя были православными людьми.

...В августе 1980 года я поехала в гости к внучке Елизаветы Васильевны Гоголь — 93-летней полтавчанке Софье Николаевне Данилевской, урожденной Быковой, чтобы уточнить некоторые места в биографии гения.

Я хорошо помню младшую сестру писателя — Ольгу Васильевну. Мне было 20 лет, когда она умерла. Её часто навещали художники, писатели, журналисты, — рассказала Софья Николаевна. — Они всегда останавливались в нашей Васильевке в доме моего отца Николая Быкова. Он был любимым внуком матери писателя — Марии Гоголь-Яновской и воспитанником Анны Васильевны, его сестры. Они свидетельствовали приезжим журналистам, что Николай Васильевич родился в доме генеральши Протасовой. Но газетчики зачем-то выдумали небылицу, будто Гоголь родился во флигеле доктора Трахимовского. И что этот домик был крыт соломой, а в комнате имелся глиняный пол! В действительности доктор арендовал землю у генеральши и поставил флигель для крепостных крестьянок. Сочинили они и то, будто детство гения прошло в среде старосветских помещиков, в доме которых почти не было книг. Но всем известно, что отец Гоголя, Василий Афанасьевич, был знаменитым украинским писателем, дружил с Котляревским, Капнистом. Хорошо знал Гнедича, Нарезного. А дед и прадед окончили Киевскую духовную академию и читали в подлинниках произведения Платона, Плутарха, Вольтера и Руссо. Мне непонятно, по какой причине журналисты пишут, что родители Гоголя бедствовали. Мать Николая Васильевича происходила из богатого рода Косяровских-Щербаковых. Её отец одолжил 25 тысяч рублей под проценты мужу своей сестры. Не получив назад денег, он отсудил часть его имущества — село Лукашевку. Почти 40 тысяч подарил ей на обустройство хозяйства дядя — сенатор Дмитрий Прокофьевич Трошинский, статс-секретарь Екатерины II. Он любил Марию Ивановну как родную дочь, а отца Гоголя — как родного сына. Поэтому большую часть времени они жили в его имении Кибинцы. Отец ставил на сцене теа-

тра Трощинского свои пьесы на русском и украинском языках, а мать Гоголя часто выступала в главных ролях, потому что была не только дивной красавицей, но и талантливым человеком. В доме сенатора Николай Гоголь с детства видел полотна английских, французских, голландских художников, в исполнении домашнего оркестра слушал музыку Баха, Бетховена, Моцарта, а в парке любовался итальянской скульптурой. Все это воспитывало и развивало его гений. Биографы умолчали, что с колыбели рядом с Никошей всегда находилась талантливая Катерина Косяровская, родная сестра матери писателя. Она обладала великолепным голосом и уникальной памятью. От нее и от матери Гоголь узнал сотни украинских народных песен, поверий, обычаев, забавных историй, которые позже вошли в его повести. Любил её слушать историк Максимович, когда гостил в Васильевке. У меня хранится девичий альбом моей бабушки Елизаветы Васильевны Гоголь. В нем есть записи Максимовича за 1850 год.

**— Софья Николаевна, сегодня продолжают спорить: Гоголь является украинским или русским писателем?**

— Я считаю, что и Польша по праву может гордиться этим гением! Учёные умолчали о польских корнях Николая Васильевича. В родительском доме в гостинной висел польский герб рода Яновских. Ольга Васильевна, младшая сестра писателя, говорила, что Танские тоже выходцы из Польши. Все они были офицерами и служили в кавалерии. У моего отца до революции хранились некоторые их документы. Я помню, что фамилию Гоголь носила мать деда гения. Чтобы её сохранить, дед стал именоваться Гоголь-Яновским. В 1919 году мы с моей мамой, Марией Пушкиной, внучкой поэта, по рекомендации писателя Короленко, передали весь архив семьи Николая Васильевича в полтавский народный музей. Но почти все эти бесценные реликвии были разграблены фашистами в 1943 году. Недавно Виктор Батурин, главный художник заповедника-музея Гоголя, заверил меня, что вскоре в нашей Васильевке будет восстановлен флигель и родительский дом гения. А в их гостиной рядом с украинским гербом

бабушки писателя Лизогуб будет висеть польский герб деда Яновского. Это справедливо! Но гений, чьи предки со стороны отца приехали в Украину из Польши более чем за сто лет до его рождения, всегда осознавал себя украинским писателем. Работая за рубежом многие годы, он неизменно во всех анкетах в графе национальность писал — «украинец». У моего отца, племянника Гоголя, было девять детей. И у нас в паспорте записано, что мы — украинцы! Необходимо подчеркнуть, что в семье Гоголя все говорили на родном украинском языке!

**— Говорят, что гениальность — это как молния, сгусток энергии талантов нескольких поколений и смешения крови разных национальностей.**

— Да. Это вполне справедливо и по отношению к Гоголю. У него в роду было много литературно одарённых людей. Его мама, Мария Ивановна, вела обширную переписку со многими писателями. А род Шостак, бабушки Гоголя со стороны матери — Марии Ильиничны, происходил из татар, род прабабушки Щербак — из русских. Предки гения — Дорошенко, Скоропадские, чьи имена указал дед гения в документе 1788 года.

...В августе 1994 года я приехала в Люблин, чтобы поработать в библиотеке университета имени Марии Склодовской-Кюри.

Сын известного графа Станислава Грохольского (1881—1938 гг.), Генрих, предложил мне просмотреть тома «Польских гербов», изданных в Варшаве в 1839—1845 и в 1899—1914 годах. В этих документах фамилия Яновских, как и дед писателя имевших герб «Ястржембец», упоминается с 1376 года. В Польше проживал Прокоп Яновский и Лизогубы, Гоголь — знаменитые украинские фамилии.

Гений Николая Гоголя по крови и по языку принадлежит трем великим государствам — Украине, России и Польше. А тем, кто огульно обвинил писателя в предательстве родного языка, Гоголь коротко и ясно ответил еще в 1830 году, в письме к своей матери: «Я буду писать на иностранном языке!» Не на великорусском, как принято было говорить в то время, а именно на иностранном.

В. АЛОВ



## «Ганц Кюхельгартен»

### Идиллия в картинах

**П**редлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта.

### КАРТИНА I

Светаает. Вот проглянула деревня.  
 Дома, сады. Всё видно, всё светло.  
 Вся в золоте сияет колокольня,  
 И блещет луч на стареньком заборе.  
 Пленительно оборотилось всё  
 Вниз головой, в серебряной воде:  
 Забор и дом, и садик в ней такие ж.  
 Всё движется в серебряной воде:  
 Синее свод, и волны облак ходят,  
 И лес живой вот только не шумит.

На берегу, далеко вшедшем в море,  
 Под тенью лип, стоит уютный домик  
 Пастора. В нем давно старик живет.  
 Ветшает он, и старенькая кровля  
 Посунулась; труба вся почернела;

И лепится давно цветистый мох  
 Уж по стенам; и окна искосились;  
 Но как-то мило в нем, и ни за что  
 Старик его б не отдал. Вот та липа,  
 Где отдыхать он любит, то ж дряхлеет.  
 Зато вокруг ней зеленые прилавки  
 Из дерну свежего. В дуплистых норах  
 Ее гнездятся птички, старый дом  
 И сад веселой песнью оглашая.  
 Пастор всю ночь не спал, да пред рассветом  
 Уж вышел спать на чистый воздух;  
 И дремлет он под липой в старых креслах,  
 И ветерок ему свежит лицо,  
 И белые взвеваает волоса.

Но кто прекрасная подходит?  
 Как утро свежее, горит  
 И на него глаза наводит?  
 Очаровательно стоит?  
 Взгляните же, как мило будит  
 Ее лилейная рука,  
 Его касаясь слегка,  
 И возвратиться в мир наш нудит.  
 И вот в полглаза он глядит,  
 И вот спросонья говорит:

– О, дивный, дивный посетитель!  
 Ты навестил мою обитель!  
 Зачем же тайная тоска  
 Всю душу мне насквозь проходит,  
 И на седого старика  
 Твой образ дивный сдалека  
 Волнение странное наводит?  
 Ты посмотри: уже я хил,  
 Давно к живущему остыл,  
 Себя погреб в себе давно я,  
 Со дня я на день жду покоя,  
 О нем и мыслить уж привык,  
 О нем и мелет мой язык.  
 Чего ж ты, гостя молодая,  
 К себе так пламенно влечешь?  
 Или, жилища неба-рая,  
 Ты мне надежду подаешь,  
 На небеса меня зовешь?  
 О, я готов, да недостоин.  
 Велики тяжкие грехи:  
 И я был злой на свете воин,  
 Меня робели пастухи;  
 Мне лютые дела не новости;  
 От дьявола отрекся я,  
 И остальная жизнь моя –  
 Заплата малая моя  
 За прежней жизни злую повесть...

Тоски, смятения полна,  
«Сказать, – подумала она, –  
Он бог знает куда заедет...  
Сказать ему, что он ведь бредит».

Но он в забвенье погружен.  
Его объемлет снова сон.  
Склонясь над ним, она чуть дышит.  
Как почивает! как он спит!  
Вздых чуть заметный грудь колышет;  
Незримым воздухом обвит,  
Его архангел сторожит;  
Улыбка райская сияет,  
Чело святое осеняет.

Вот он открыл свои глаза:  
– Луиза, ты ль? мне снилось... странно...  
Ты поднялась, шалунья, рано;  
Еще не высохла роса.  
Сегодня, кажется, туманно.

– Нет, дедушка, светло, свод чист;  
Сквозь рощу солнце светит ярко;  
Не колыхнется свежий лист,  
И поутру уже всё жарко.  
Узнаете ль, зачем я к вам? –  
У нас сегодня будет праздник.  
У нас уж старый Лодельгам,  
Скрипач, с ним Фриц проказник;  
Мы будем ездить по водам...  
Когда бы Ганц... – Добросердечный  
Пастор с улыбкой хитрой ждет,  
О чем рассказ свой поведет  
Младенец резвый и беспечный.

– Вы, дедушка, вы можете помочь  
Одни неслыханному горю:  
Мой Ганц страх болен; день и ночь  
Всё ходит к сумрачному морю;  
Всё не по нем, всему не рад,  
Сам говорит с собой, к нам скучен,  
Спросить – ответит невпопад,  
И весь ужасно как измучен.  
Ему зазнаться уж с тоской –  
Да эдак он себя погубит.  
При мысли я дрожу одной:  
Быть может, недоволен мной;  
Быть может, он меня не любит. –  
Мне это – в сердце нож стальной.  
Я вас просить, мой ангел, смею... –  
И кинулась к нему на шею,  
Стесненной грудью чуть дыша;  
И вся зарделась, вся смешалась

Моя красавица-душа;  
Слеза на глазках показалась...  
Ах, как Луиза хороша!

– Не плачь, спокойся, друг мой милый!  
Ведь стыдно плакать, наконец, –  
Духовный молвил ей отец. –  
Бог нам дарит терпенье, силы;  
С твоей усердною мольбой.  
Тебе ни в чем он не откажет.  
Поверь, Ганц дышит лишь тобой;  
Поверь, он то тебе докажет.  
Зачем же мыслию пустой  
Душевный растравлять покой?  
Так утешает он свою Луизу.  
(...)

## КАРТИНА II

Волнуем думой непонятной,  
Наш Ганц рассеянно глядел  
На мир великий, необъятный,  
На свой незнаемый удел.  
Доселе тихий, безмятежный  
Он жизнью радостно играл;  
Душой невинною и нежной  
В ней горьких бед не прозревал;  
Земного мира уроженец,  
Земных губительных страстей  
Он не носил в груди своей,  
Беспечный, ветреный младенец.  
И было весело ему,  
Он разрезвлялся мило, живо  
В толпе детей; не верил злу:  
Пред ним цвел мир как бы на диво.  
Его подруга с детских дней  
Дитя-Луиза, ангел светлый,  
Блистала прелестью речей;  
Сквозь кольца русые кудрей  
Лукавый взгляд жег неприметно;  
В зеленой юбочке сама  
Поет, танцует ли она –  
Всё простодушно, в ней всё живо,  
Всё детски в ней красноречиво;  
На шейке розовый платок  
С груди слетает понемножку,  
И стройно белый башмачок  
Ее охватывает ножку.  
В лесу ль играет вместе с ним –  
Его обгонит, всё проникнет,  
В куст притаясь с желаньем злым,  
Ему вдруг в уши громко крикнет –  
И испугает; спит ли он –

Ему лицо всё разрисует,  
И, звонким смехом пробужден,  
Он покидает сладкий сон,  
Шалунью резвую целует.  
(...)

Он ловит буквы в ней немые:  
– Глаголят в них века седые,  
И слово дивное гремит. –  
Час углубясь в раздумья целый,  
С нее и глаз он не сведет;  
Кто мимо Ганца ни пройдет,  
Кто ни посмотрит, скажет смело:  
Назад далеко он живет.  
Чудесной мыслью очарован,  
Под дуба сумрачную сень  
Идет он часто в летний день,  
К чему-то тайному прикован;  
Он видит тайно чью-то тень,  
И к ней он руки простирает.  
Ее в забвенье обнимает.

А простодушна и одна  
Луиза-ангел, что же? где же?  
Ему всем сердцем предана,  
Не знает, бедненькая, сна;  
Ему приносит ласки те же;  
Его ручонкой обовьет;  
Его невинно поцелует;  
Он на минуту растоскует  
И снова то же запоет.  
(...)

### КАРТИНА III

Земля классических, прекрасных созиданий,  
И славных дел, и вольности земля!  
Афины, к вам, в жару чудесных трепетаний,  
Душой приковываюсь я!  
Вот от треножников до самого Пирея  
Кипит, волнуется торжественный народ;  
Где речи Эхинова, гремя и пламеня,  
Всё своенравно вслед влечет,  
Как воды шумные прозрачного Иллиса.  
Велик сей мраморный изящный Парфенон!  
Колонн дорических он рядом обнесен;  
Минерву Фидий в нем переселил резцом,  
И блещет кисть Парразия, Зевксиса.  
Под портиком божественный мудрец  
Ведет высокое о дольном мире слово;  
Кому за доблести бессмертие готово.  
Кому позор, кому венец.  
Фонтанов стройных шум, нестройных  
песней клики;

С восходом дня толпа в амфитеатр валит,  
Персидский кандис весь испещренный блещит,  
И вьются легкие туники.  
(...)

### КАРТИНА IV

В стране, где сверкают живые ключи;  
Где, чудно сияя, блистают лучи;  
Дыхание амры и розы ночной  
Роскошно объекает эфир голубой;  
И в воздухе тучи курений висят;  
Плоды мангустана золотые горят;  
Лугов кандатарских сверкает ковер;  
И смело накинута небесный шатер;  
Роскошно валится дождь яркий цветов,  
То блещут, трепещут рои мотыльков; –  
Я вижу там Пери: в забвеньи она  
Не видит, не внемлет, мечтаний полна.  
Как солнца два, очи небесно горят;  
Как Гемасагара, так кудри блестят;  
Дыхание – лилий серебряных чад,  
Когда засыпает истомленный сад  
И ветер их вздохи развеет порой;  
А голос, как звуки сириды ночной,  
Или трепетанье серебряных крыл,  
Когда ими звукнет, резвясь, Исразил,  
Иль плески Хиндары таинственных струй;  
А что же улыбка? А что ж поцелуй?  
Но вижу, как воздух, она уж летит,  
В края поднебесны, к родимым, спешит.  
Постой, оглянися! Не внемлет она.  
И в радуге тонет, и вот не видна.  
Но воспоминанье мир долго хранит,  
И благоуханьем весь воздух обвит.  
(...)

### КАРТИНА VI

От Висмара в двух милях та деревня,  
Где ограничился лиц наших мир.  
Не знаю, как теперь, но Люненсдорфом  
Она тогда, веселая, звалась.  
Уж издали белеет скромный домик  
Вильгельма Бауха, мызника. Давно,  
Женившись на дочери пастора,  
Его соорудил он! Веселый домик!  
Он выкрашен зеленой краской, крыт  
Красивою и звонкой черепицей;  
Вокруг каштаны старые стоят,  
Нависши ветвями, как будто в окна  
Хотят прорваться; из-за них мелькает  
Решетка из прекрасных лоз, красиво



И хитро сделана самим Вильгельмом;  
 По ней висит и змейкой вьется хмель;  
 С окна протянут шест, на нем белье  
 Блистает белое пред солнцем. Вот  
 В пролом на чердаке толпится стая  
 Мохнатых голубей; протяжно клохчут  
 Индейки; хлопая, встречает день  
 Крикун петух и по двору вот важно,  
 Меж пестрых кур он кучи разгребает  
 Зернистые; гуляют тут же две  
 Ручные козы и, резвяся, щиплют  
 Душистую траву. Давно курился  
 Уж дым из белых труб, курчаво он  
 Вился и облака приумножал.  
 С той стороны, где со стен валилась краска  
 И серые торчали кирпичи,  
 Где древние каштаны стлали тень,  
 Которую перебегало солнце,  
 Когда вершину их ветр резво колыхал, –  
 Под тенью тех деревьев вечно милых  
 Стоял с утра дубовый стол, весь чистой  
 Покрытый скатертью и весь уставлен  
 Душистой яствой: желтый вкусный сыр,  
 Редис и масло в фарфоровой утке,  
 И пиво, и вино, и сладкий бишеф,  
 И сахар, и коричневые вафли;  
 В корзине спелые, блестящие плоды:  
 Прозрачный грозд, душистая малина.  
 И, как янтарь, желтеющие груши,  
 И сливы синие, и яркий персик,  
 В затейливом виднелось всё порядке.  
 Сегодня праздновал живой Вильгельм  
 Рождение дорогой своей супруги,  
 С пастором и драгими дочерьми:  
 Луизой старшей и меньшою Фанни.  
 Но Фанни нет, она давно пошла  
 Звать Ганца и не возвращалась. Верно,  
 Он где-нибудь опять в раздумье бродит.  
 А милая Луиза всё глядит  
 Внимательно на темное окно  
 Соседа Ганца. Два шага всего ведь  
 К нему; но не пошла моя Луиза:  
 Чтоб не заметил он в ее лице  
 Тоски докучливой, чтоб не прочел  
 В ее глазах он едкого упрека.  
 Вот говорит Вильгельм, отец, Луизе:  
 – Смотри, ты Ганца пожюри порядком:  
 Зачем он к нам так долго не идет?  
 Ведь ты его сама избаловала. –  
 И вот дитя-Луиза так в ответ:  
 – Боюсь журить прекрасного я Ганца:  
 И без того он болен, бледен, худ...  
 – Что за болезнь, – сказала мать.

Живая Берта, – не болезнь, тоска  
 Незванная к нему сама пристала;  
 Вот женится, и отпадет тоска.  
 Так молодой побег, совсем пригложший,  
 Опрыснутый дождем, вмиг зацветет;  
 И что ж жена, как не веселье мужа?  
 – Речь умная, – седой пастор примолвил. –  
 Всё, верь, пройдет, когда захочет бог,  
 И будь во всем его святая воля. –  
 Уже два раза он из трубки выбивал  
 Золу, и в спор вступал с Вильгельмом,  
 Разговорясь про новости газет,  
 Про злой неурожай, про греков и про турок,  
 Про Мисолунги, про дела войны,  
 Про славного вожда Колокотрони,  
 Про Канинга, про парламент,  
 Про бедствия и мятежи в Мадрите.  
 Как вдруг Луиза вскрикнула и мигом,  
 Увидя Ганца, бросилась к нему.  
 Воздушный стан ее обнявши стройный,  
 С волненьем юноша ее поцеловал.  
 Оборотясь к нему, вот молвит пастор:  
 – Эх, стыдно, Ганц, забыть своего друга!  
 Да что, коли уже забыл Луизу,  
 Об нас ли, стариках, и думать? – Полно  
 Тебе всё Ганца, папенька, журить, –  
 Сказала Берта, – лучше сядем мы  
 Теперь за стол, не то простынет всё:  
 И каша с рисом и вином душистым,  
 И сахарный горох, каплун горячий,  
 Зажаренный с изюмом в масле. – Вот  
 За стол они садятся мирно;  
 И скоро вмиг вино всё оживило  
 И, светлое, смех в душу пролило.  
 Старик скрипач и Фриц на звонкой флейте  
 Согласно грянули хозяйке в честь.  
 Все понеслись и закружились в вальсе.  
 Развеселясь, румяный наш Вильгельм  
 Пустился сам с своей женой, как с павой;  
 Как вихорь, неся Ганц с своей Луизой  
 В бурливом вальсе; и пред ними мир  
 Вертелся весь в чудесном, шумном строе.  
 А милая Луиза ни дохнуть,  
 Ни посмотреть вокруг не может, вся  
 В движенья потерялась. Ими  
 Не налюбуйся, говорит пастор:  
 – Любезная, прекрасная чета!  
 Мила моя веселая Луиза,  
 Прекрасен и умен, и скромн Ганц;  
 Сотворены они уж друг для друга  
 И счастливо свою жизнь проведут.  
 Благодарю тебя, о боже милосердый!  
 Что ниспослал на старость благодать,

Мои продлил дряхлеющие силы –  
 Чтобы узреть таких прекрасных внучат,  
 Чтобы сказать, прощаясь с ветхим телом:  
 Прекрасное я видел на земле.

## КАРТИНА VII

С прохладой спокойный тихий вечер  
 Спускается; прощальные лучи  
 Целуют где-где сумрачное море;  
 И искрами живыми, золотыми  
 Деревья тронуты; и вдалеке  
 Виднеют сквозь туман морской утесы,  
 Все разноцветные. Спокойно всё,  
 Пастушечьих лишь рожков унывный голос  
 Несется вдали с веселых берегов,  
 Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы  
 Чуть пробежит и вздернет море рябью,  
 Да ласточка, крылом черпнувши моря,  
 Круги по воздуху скользя дает;  
 Вот заблестел вдали, как точка, катер;  
 А кто же в нем, в том катере, сидит?  
 Сидит пастор, наш старец седовласый.  
 И с дорогой супругою Вильгельм;  
 А резвая всегда шалунья Фанни,  
 С удой в руках и свесившись с перил,  
 Смеясь, ручонкою болтала волны;  
 Возле кормы с Луизой милой Ганц.  
 И долго все в молчанье любовались:  
 Как за кормой широкая ходила  
 Волна и в брызгах огнецветных, вдруг  
 Веслом разорванная, трепетала;  
 Как разъяснялась розовая дальность  
 И южный ветр дыханье навевал.  
 И вот пастор, исполнен умиленья,  
 Проговорил: «Как мил сей божий вечер!  
 Прекрасен, тих он, как благая жизнь  
 Безгрешного; она ведь также мирно  
 Кончает путь, и слезы умиленья  
 Священный прах, прекрасные, кропят.  
 Пора и мне уж; срок назначен,  
 И скоро, скоро я не буду ваш,  
 Но эдак ли прекрасно опочию?..»  
 Все прослезилась; Ганц, который песню  
 Наигрывал на сладостном гобое,  
 Задумался и выронил гобой;  
 И снова сон какой-то осенил  
 Его чело; далеко мчались мысли,  
 И чудное на душу натекло.  
 И вот ему так говорит Луиза:  
 – Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь  
 Меня, когда я пробудить могу

Хоть жалость, хоть живое состраданье  
 В душе твоей, не мучь меня, скажи, –  
 Зачем один с какой-то книгой  
 Ты ночь сидишь? (мне видно всё,  
 И окнами ведь друг мы против друга).  
 Зачем дичишься всех? зачем грустишь?  
 О, как меня твой грустный вид тревожит!  
 О, как меня печаль твоя печалит! –  
 И, тронутый, смутился Ганц;  
 Ее к груди с тоскою прижимает,  
 И брызнула невольная слеза.  
 – Не спрашивай меня, моя Луиза,  
 И беспокойством сим тоски не множь.  
 Когда ж кажусь погружен в мысли –  
 Верь, занят и тогда тобой одною,  
 И думаю я, как бы отвратить  
 Все от тебя печальные сомненья,  
 Как радостью твоей наполнить сердце,  
 Как бы души твоей хранить покой,  
 Оберегать твой детский сон невинный,  
 Чтобы недоброе не приближалось,  
 Чтобы и тень тоски не прикасалась,  
 Чтоб счастье твое всегда цвело. –  
 Спустился к нему головою на грудь,  
 В избытке чувств, в признательности сердца  
 Ни слова вымолвить она не может.  
 По берегу неслася лодка плавно  
 И вдруг причалила. Все вышли  
 Вмиг из нее. «Ну! берегитесь, дети, –  
 Сказал Вильгельм, – здесь сыро и роса,  
 Чтоб не нажить несносного вам кашля».  
 Дорогой Ганц наш мыслит: «Что же будет,  
 Когда услышит то, чего и знать бы  
 Не должно ей?» И на нее глядит  
 И чувствует он в сердце укоризну:  
 Как будто бы недоброе что сделал,  
 Как будто бы пред богом лицемерил.

## КАРТИНА VIII

На башне бьет час полуночный.  
 Так, это час, час дум урочный,  
 Как Ганц один всегда сидит!  
 Свет лампы перед ним дрожит  
 И бледно сумрак освещает.  
 (...)

1

«Всё решено. Теперь ужели  
 Мне здесь душою погибать?  
 И не узнать иной мне цели?  
 И цели лучшей не сыскать?  
 Себя обречь бесславию в жертву?  
 При жизни быть для мира мертву?

## 2

Душой ли, славу полюбившей,  
Ничтожность в мире полюбить?  
Душой ли, к счастью не остывшей,  
Волненья мира не испить?  
И в нем прекрасного не встретить?  
Существованья не отметить?

## 3

Зачем влечете так к себе вы,  
Земли роскошные края?  
И день и ночь, как птиц напевы,  
Призывный голос слышу я;  
И день и ночь мечтами скован,  
Я вами, вами очарован.

## 4

Я ваш! я ваш! из сей пустыни  
Вниду я в райские места;  
Как пилигрим бредет к святыне,  
.....  
Корабль пойдет, забрызжут волны;  
Им чувства вслед, веселья полны.

## 5

И он спадет, покров неясный,  
Под коим знала вас мечта,  
И мир прекрасный, мир прекрасный  
Отворит дивные врата,  
Приветить юношу готовый  
И в наслажденьях вечно новый.

## 6

Творцы чудесных впечатлений!  
Резец ваш, кисть увижу я,  
И ваших пламенных творений  
Душа исполнится моя;  
Шумы ж, мой океан широкий!  
Неси корабль мой одинокий!

## 7

А ты прости, мой угол тесный,  
И лес, и поле! луг, прости!  
Кропи вас чаще дождь небесный!  
И дай бог долее цвести!  
По вас душа как будто страждет,  
В последний раз объять вас жаждет.

## 8

Прости, мой ангел безмятежный!  
Чела слезами не кропи!  
Не предавайсь тоске мятежной

И Ганца бедного прости!  
Не плачь, не плачь, я скоро буду,  
Я возвращусь – тебя ль забуду?..»

## КАРТИНА IX

Кто это позднею порой  
Ступает тихо, осторожно?  
Видна котомка за спиной,  
Посох за поясом дорожный.  
Направо домик перед ним,  
Налево дальняя дорога,  
Идти путем он хочет сим  
И просит твердости у бога.  
Но, мукой тайною томим,  
Назад он ноги обращает  
И в домик тот он поспешает.  
(...)

И, вздрогнув, быстро он бежит  
Опять дорогою далекой;  
Но мрачен беспокойный вид,  
Но грустно в сей душе глубокой.  
Вот оглянулся он назад:  
Но уж туман окрестность кроет,  
И пуще юноши грудь ноет,  
Прощальный посылая взгляд.  
Ветр, пробудившись, суровый  
Качнул зеленою дубровой.  
Исчезло всё в дали пустой.  
Сквозь сон лишь смутною, порой  
Готлиб привратник будто слышал,  
Что из калитки кто-то вышел,  
Да верный пес, как бы в укор,  
Пролаял звучно на весь двор.

## КАРТИНА X

(...)  
«Что Ганц так долго не приходит?  
Он обещал мне быть чуть свет.  
Какой же день! тоску наводит;  
Туман густой по полю ходит,  
И ветер свистит; а Ганца нет».

Полна живого нетерпенья,  
Глядит на милое окно:  
Не отворится оно.  
Ганц, верно, спит, и сновиденья  
Ему творят любой предмет;  
Но день давно уж. Рвут долины  
Ручьи дождя; дубов вершины  
Шумят; а Ганца нет, как нет.  
(...)

Что б это значило? ... находит  
 Злодейка грусть; слух утомлен  
 Считать часы... Вот кто-то входит  
 И в дверь... Он! он!.. ах, нет, не он!  
 В халате розовом, покойном,  
 В цветном переднике с каймой,  
 Приходит Берта: «Ангел мой!  
 Скажи, что сделалось с тобой?  
 Ты ночь всю спала беспокойно;  
 Ты вся томна, ты вся бледна.  
 Не дождь ли помешал шумливый?  
 Или ревущая волна?  
 Или петух, буян крикливый,  
 Всю ночь не ведающий сна?  
 Иль потревожил дух нечистый  
 Во сне покой девицы чистой,  
 Навеял черную печаль?  
 Скажи, тебя всем сердцем жаль!»

– Нет, не мешал мне дождь шумливый,  
 И не ревущая волна,  
 И не петух, буян крикливый,  
 Всю ночь не ведающий сна;  
 Не эти сны, не те печали  
 Мне грудь младую взволновали,  
 Не ими дух мой возмущен,  
 Иной мне снился дивный сон.

Мне снилось: в темной я пустыне,  
 Вокруг меня туман и глушь.  
 И на болотистой равнине  
 Нет места, где была бы сушь.  
 Тяжелый запах; топко, вязко;  
 Что шаг, то бездна подо мной:  
 Боюсь я ступить ногой;  
 И вдруг мне сделалось так тяжело,  
 Так тяжело, что нельзя сказать...  
 Где ни возьмись, Ганц дикий, странный

– Бежала кровь, струясь из раны –  
 Вдруг начал надо мной рыдать;  
 Но, вместо слез, лились потоки  
 Какой-то мутной воды...  
 Проснулась я: на грудь, на щеки,  
 На кудри русой головы,  
 Бежал ручьями дождь досадный;  
 И было сердцу не отрадно.  
 Меня предчувствие берет...  
 И я кудрей не выжимала;  
 И я всё утро тосковала;  
 Где он? и что с ним? что нейдет? –

Стоит, качает головою  
 Разумная пред нею мать:  
 – Ну, дочка! мне с твоей бедою,

Не знаю, как уж совладать.  
 Пойдем к нему, узнаем сами,  
 Да будь святая сила с нами! – (...)

## КАРТИНА XI

(...)  
 С каким восторгом чувств живым  
 Простые речи говорила!  
 И как внимал речам ты сим!  
 Как пламенен и как невинен  
 Был этот блеск ее очей!  
 Как часто ей, в тоске своей,  
 Тот день казался скучен, длинен,  
 Когда, раздумью предана,  
 Тебя не видела она.  
 И ты ль, и ты ль ее оставил?  
 Ты ль отвернулся от всего?  
 В страну чужую путь направил,  
 И для кого? и для чего?  
 Но посмотри, тиран жестокий:  
 Она всё так же, под окном,  
 Сидит и ждет в тоске глубокой,  
 Не промелькнет ли милый в нем.  
 Уж гаснет день; сияет вечер;  
 На всё наброшен дивный блеск;  
 Прохладный вьется в небе ветер;  
 Волны чуть слышен дальний плеск.  
 Уже ночь тени настигает;  
 Но запад всё еще сияет.  
 Свирель чуть льется; а она  
 Сидит недвижно у окна.  
 (...)

## КАРТИНА XIII

(...)  
 Печальны древности Афин.  
 Туманен ряд былых картин.  
 Облокотясь на мрамор хладный,  
 Напрасно путник алчет жадный  
 В душе бывое воскресить,  
 Напрасно силится развить  
 Протекших дел истлевший свиток, –  
 Ничтожен труд бессильных пыток;  
 Везде читает смутный взор  
 И разрушенье, и позор.  
 Промеж колонн чалма мелькает,  
 И мусульманин по стенам,  
 По сим обломкам, камням, рвам,  
 Коня свирепо напирает,  
 Останки с воплем разорывает.

Невыразимая печаль  
 Мгновенно путника объемлет,  
 Души он тяжкий ропот внемлет;  
 Ему и горестно, и жаль,  
 Зачем он путь сюда направил.  
 Не для истлевших ли могил  
 Кров безмятежный свой оставил,  
 Покой свой тихий позабыл?  
 Пускай бы в мыслях обитали  
 Сии воздушные мечты!  
 Пускай бы сердце волновали  
 Зерцалом чистой красоты!  
 Но и убийственно и хладно  
 Разворожились вы теперь.  
 Безжалостно и беспощадно  
 Пред ним захлопнули вы дверь,  
 Сыны существенности жалкой,  
 Дверь в тихий мир мечтаний, жаркий! –  
 И грустно, медленной стопой  
 Руины путник покидает;  
 Клянется их забыть душой;  
 И всё неволью помышляет  
 О жертвах бренности слепой.  
 (...)

## КАРТИНА XVI

Ушло два года. В мирном Люненсдорфе  
 По-прежнему красуется, цветет;  
 Всё те ж заботы, и забавы те же  
 Волнуют жителей покойные сердца.  
 Но не по-прежнему в семье Вильгельма:  
 Пастора уж давно на свете нет.  
 Окончив путь и тягостный и трудный,  
 Не нашим сном он крепко опочил.  
 Все жители останки провожали  
 Священные, с слезами на глазах;  
 Его дела, поступки поминали:  
 Не он ли нам спасением служил?  
 Нас наделял своим духовным хлебом,  
 В словах добру прекрасно поучая.  
 Не он ли был утешью скорбящих,  
 Сирот и вдов нетрепетным щитом?  
 В день праздничный, как кротко он,  
 бывало,  
 Всходил на кафедру! и с умилением  
 Нам говорил про мучеников чистых,  
 Про тяжкие страдания Христовы,  
 А мы ему, растроганны, внимали,  
 Дивилися и слезы проливали.

От Висмара когда кто держит путь,  
 Встречается налево от дороги  
 Ему кладбище: старые кресты  
 Склонились, обшиты мохом,

И времени изведены резцом.  
 (...)  
 Всей детскою она своей душой  
 Богоподобного любила старца;  
 И думает в душевной глубине:  
 «Нет, не сбылись живые упования  
 Твои. Как, добрый старец, ты желал  
 Нас обвенчать перед святым налоем,  
 Навеки наш союз соединить.  
 Как ты любил мечтательного Ганца!  
 А он...»

Заглянем в хижину Вильгельма.  
 Уж осень. Холодно. И дома он  
 Вытачивал с искусством хитрым кружки  
 Из крепкого с слоями бука,  
 Затейливой резьбою украшая;  
 У ног его свернувшись лежал  
 Любимый друг, товарищ верный, Гектор.  
 А вот разумная хозяйка Берта  
 С утра уже заботливо хлопочет  
 О всем. Толпится также под окном  
 Гусей ватага долгошейных; так же  
 Неугомонные кудахчут куры;  
 Чиликают нахалы воробьи,  
 Весь день в навозной куче роясь.  
 Видали уж красавца снегиря;  
 И осенью давно запахло в поле,  
 И пожелтел давно зеленый лист,  
 И ласточки давно уж отлетели  
 За дальние, роскошные моря.  
 Кричит разумная хозяйка Берта:  
 «Так долго не годится быть Луизе!  
 Темнеет день. Теперь не то, что летом;  
 Уж сыро, мокро, и густой туман  
 Так холодом всего и пронимает.  
 Зачем бродить? беда мне с этой девкой;  
 Не выкинет она из мыслей Ганца;  
 А бог знает, он жив ли или нет».  
 Не то совсем раздумывает Фанни,  
 За пальцами сидя в своем углу.  
 Шестнадцать лет ей, и, полна тоски  
 И тайных дум по идеальном друге,  
 Рассеянню, невнятно говорит:  
 «И я бы так, и я б его любила».

## КАРТИНА XVII

(...) Один дорогой почтовой  
 Бредет, с котомкой за спиной,  
 Печальный путник из чужбины.  
 Уныл, и томен он, и дик,  
 Идет согнувшись, как старик,  
 В нем Ганца нет и половины.

Полупотухший бродит взор  
 По злачным холмам, желтым нивам,  
 По разноцветной цепи гор.  
 Как бы в забвении счастливом  
 Его касается мечта;  
 Но мысль не тем уж занята. –  
 Он в думы крепкие погружен.  
 Ему покой теперь бы нужен.

Прошел он дальний, видно, путь;  
 Страдает больно, видно, грудь;  
 Душа страдает, жалко ноя;  
 Ему теперь не до покоя.  
 (...)

И много истин он, печальный,  
 Теперь изведаль и узнал;  
 Но сам счастливее ли стал  
 Во глубине души опальной?  
 Лучистой, дальнею звездой  
 Его влекла, тянула слава,  
 Но ложен чад ее густой,  
 Горька блестящая отравка.  
 (...)

## КАРТИНА XVIII

Выходят звезды плавным хором,  
 Обозревают кротким взором  
 Опочивающий весь мир,  
 Блюдут сон тихий человека,  
 Ниспосылают добрым мир,  
 А злым яд гибельный упрека.  
 Зачем же, звезды, грустным вы  
 Не посылаете покоя?  
 Для горемычной головы  
 Вы – радость, и, на вас покоя  
 Свой грустный стосковальный взор,  
 Страстей он слышит разговор  
 В душе, и вас он призывает,  
 И вам он пени поверяет.  
 По-прежнему всегда томна.  
 Еще Луиза не разделась;  
 Не спится ей; в мечтах она  
 На ночь осенню загляделась.  
 Предмет, и тот же и один...  
 И вот восторг к ней в душу входит:  
 Песнь стройную она заводит;  
 Звучит веселый клавесин.

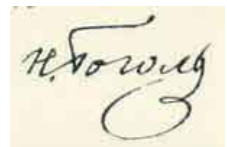
Внимая шуму листопада,  
 Промеж деревьев, где сквозит

Из стен решетчатых ограда,  
 В забвеньи сладостном, у сада,  
 Наш Ганц закутавшись стоит.  
 И что же с ним, когда он звуки  
 Давно знакомые узнал,  
 И голос тот, со дня разлуки  
 Что долго, долго не слышал;  
 И песню ту, что в страсти жаркой,  
 В любви, в избытке дивных сил,  
 Под строй души в напевах яркой,  
 Ее, восторженный, сложил?  
 Чрез сад она звенит, несется  
 И в упоеньи тихом льется:

«Тебя зову! тебя зову!  
 Твоей улыбкою чаруюсь,  
 С тобой не час, не два сижу,  
 С тебя очей я не свожу:  
 Дивуюсь, не надивуюсь.  
 Поешь ли ты – и звон речей  
 Твоих, таинственный, невинный,  
 Ударит в воздух ли пустынный –  
 Звук в небе льется соловьиный,  
 Гремит серебряный ручей.  
 (...)

## ЭПИЛОГ

В уединении, в пустыне,  
 В никем неизвестной глуши,  
 В моей неведомой святыне,  
 Так созидаются отныне  
 Мечтанья тихие души.  
 Дойдет ли звук подобно шуму,  
 Взволнует ли кого-нибудь,  
 Живую юноши ли думу,  
 Иль девы пламенную грудь?  
 Веду с невольным умиленьем  
 Я песню тихую мою,  
 И с неразгаданным волненьем  
 Свою Германию пою.  
 Страна высоких помышлений!  
 Воздушных призраков страна!  
 О, как тобой душа полна!  
 Тебя обняв, как некий гений,  
 Великий Гёте бережет,  
 И чудным строем песнопений  
 Свевавет облака забот.





Георгий КАЮРОВ



## ПО ТУ СТОРОНУ

Повесть

**В** воротах семинарии размахивал метлой хмурый мужик-дворник. Он, словно маятник, закидывал метлу то вправо, то влево, курсируя от одного вратного столба к другому. Работал дворник на загляденье, – картину с него пиши. И почему-то в шляпе. Нахлобученная на глаза, шляпа выглядела некоторой вольностью в дворницком одеянии. Дворник отвечал мне, не прерывая своего занятия. То ли испортили ему с утра настроение и он пытался выместить сердитость на метле и мусоре, то ли видел-перевидывал таких, как я, и отвлекаться по пустякам не собирался. Он только раз нарушил маятник, махнув метлой выше обычного в

сторону корпуса с четырьмя колоннами в глубине двора.

– Туда ступай. И не дворник, а сторож, – неожиданно для меня пояснил он. Я опешил на мгновение и, сторонясь, обошел сторожа от греха подальше. Попытался разглядеть его лицо, но и не без охоты быстро ретировался. «Откуда он знает, что про себя я назвал его дворником? Примус хренов». Тут же навесил я на сторожа-дворника прозвище.

Не спеша я пересекал двор семинарии, направляясь к зданию, на которое указал Примус. Хотелось основательнее рассмотреть обитель, в которой решил провести четыре года жизни. У здания с колоннами я остановился и оглядел его снаружи, потолкал на прочность колонны перед входом, даже не знаю зачем, скорее всего, просто так, ради смеха. То, что это административный корпус, и догадываться не стоило – справа от входа черным квадратом с бронзовыми буквами «Ректор» красовалась стеклянная вывеска. У парадных дверей задержался, чтобы рассмотреть на них сюжеты. Это были запечатленные в резьбе по дереву события из Библии. Вот только Иисус на них какой-то ненастоящий. Если это вообще он...

– Парень! – раздался за моей спиной голос. Я не спешил оборачиваться, во-первых, чтобы не потерять сюжет в витиеватой резьбе, а во-вторых, наверное, – из вредности. Окликнувшему, видимо, не терпелось, и меня мягко взяли за плечо, настойчиво давая понять – «парень» адресуется именно мне. Решение сыграть убогого горбуна пришло само собою и как-то вдруг. Я прищурился, подслеповато заморгал, изогнул шею набок, отвесив нижнюю губу, и, коряво оборачиваясь, посмотрел снизу вверх. Сама природа тоже решила подыграть. От пристального рассматривания рисунка и ударившего в глаза солнечного света потекли слезы. Я едва смог проморгаться, так обильно они проступили. Это тоже придало правдивости образу. Моему взору предстали двое – молодой человек, рука которого не спешила покидать моё плечо, похоже, он и обратился ко мне, и святой отче – высокого роста, ширококостный, крупный мужик, килограммов под сто двадцать, с сытой физиономией, но не толстый. Впечатлительный юноша сразу проникся моим образом и, борясь с нахлынувшей вдруг жалостью, которая мгновенно лишила его уверенности, едва отодрал от меня свою руку. С силой, на какую был только способен сострадать, он сгрёб на груди рубаху и сжал что было мочи. Лицо его страдальчески застыло, передав и боль, с которой жгло ему ладонь. Он весь окаменел в растерянности: что же делать? И святому отцу хотелось угодить, и убогого зазря потревожил. Удалось! Я ликовавал от удачного розыгрыша. С этим было покончено! Слабак! В последний раз окинув взглядом юношу, – глист-глистом, я перевёл взгляд на второго визитера. Благочинный же, облаченный в иссиня-черную рясу и белоснежный клобук – скуфью со шлейфом, сквозь прищур, с искрящейся хитрецей в зрачках, рассматривал импровизатора-горбуна и не спешил, ожидая, когда же всё-таки пропустят. На груди у него красовалась золотая панагия – четырехконечный крест, весь в разноцветных камнях, а рука опиралась на резной посох, облепленный такими же камнями, с натертым до блеска латунным набалдашником. Священник как-то подозрительно перебрал пальцами по посоху. «Не огрел бы сдуру юродивого, – мелькнула у меня мысль. – Пора кончать с представлением», – но

я не знал, как выйти из ситуации, и потому просто уставился обоим под ноги, выражая покорность и чтобы не видеть посох, вдруг ставший мне ненавистным. Молодой человек застыл, обреченно склонив голову. Мне почему-то стало искренне жаль его. К тому же не хотелось больше искушать терпение святого отца. Я потянул за ручку, открывая дверь, и отступил, кочевряжась, доигрывая сцену. Мне на помощь бросился юноша, облапив мою руку своими мокрыми ладонями. Его трясло не на шутку. Святой отец сдвинулся с места и проследовал мимо нас.

– Хорош, дьявол! – не смог удержать я своего восхищения. На что парень тут же зло цыкнул и больно ущипнул меня. Святой отче только наделил нас косым взглядом и проследовал в здание, обдав потоком разрезаемого воздуха и дорогими ароматами. Когда здоровенная дубовая дверь закрылась, оградив святого отца от остального мира, парень с шумом выдохнул. Но стоило мне разогнуться, принимая свой нормальный рост, он, совсем по-девчачьи сжав кулаки, накинулся на меня, что рассмешило ещё больше.

– Ты с ума сошёл! Это же сам митрополит Владимир, ректор духовной семинарии! Нашёл, перед кем юридического разыгрывать! – паренёк ещё много наговаривал разных страшилок, а я восхищался красивой согласованностью его эмоций, не меньше, чем колоритностью ректора. Розыгрыш удался, и настроение должно было быть у меня преотменное, но что-то, не до конца осознанное его подпортило. Меня взволновало то, что сказал парень.

– Ты кто? – таким коротким вопросом я прервал монолог моего визави. Я нуждался в том, чтобы все замерло хоть на мгновение, чтобы я мог сосредоточиться над этим неосознанным. Похоже, мой вопрос остудил пыл незнакомца или охладило его что-то другое, о чём он подумал, выказывая молниеносное ориентирование в складывающихся ситуациях. Он запнулся, решая, стоит ли называться, а мне хватило выстроить мысли в стройный ряд. Не до конца согласившись с внутренними противоречиями, паренёк тихо представился:

– Виктор.

– Не дрейфь, Витя! – для первого знакомства я панибратски потрепал Виктора за плечо и устремил взгляд на двери, за которыми скрылся ректор. – На каждого, Витя, у господ нашего есть козырная карта, – скорая и при странных обстоятельствах встреча с ректором семинарии напомнила мне о заветном конверте, даденном отцом перед смертью. Мысли зароились в голове сами собою: – К богу у каждого своя дорога, свой путь, через свою жизнь, поступки, даже и не благовидные, – поспешил я озвучить личные переживания, чтобы избавиться от них. – Будем знакомы, – я смело протянул руку, еще больше обескураживая и без того теряющегося в круговерти обстоятельств Виктора. – Егор. Можно Юрий или Георгий, как пожелаешь. Если ты мало-мальски грамотный, как говорил мой отец, то должен откликаться на любой из этих вариантов.

Виктор не смог скрыть недоумения, но я и не хотел слышать его вопросов:

– Одно и то же имя, – равнодушно пояснил я.

– Да? Не знал. Надо обязательно прочитать, – только и нашёлся, что ответить мой новый знакомый.

– Совсем не обязательно, – парировал я и пристальнее всмотрелся в лицо парня. Ну, точно глист. – Ты чё тут делаешь?

– Приехал поступать, – Виктор взглядом указал на дубовые двери семинарии.

– Тоже, – вздохнул я. – Хотел в архитектурный, так там конкурс восемнадцать чело-век на место. Льготы после армии уже не проходят. На всякий случай заглянул и сюда. Кстати, куда здесь документы сдавать? Ты сдал уже? Может, поступить ради смеха в семинарию? А, Вить, как думаешь?

– Не знаю. Я сдал, – содрогнувшись от услышанного, промямлил Виктор. – Во второй, – он нервно кивнул в сторону двухэтажного здания, галереей соединяющегося с главным корпусом, и, отвечая на мой второй вопрос, немо протянул руку, указывая направление, по которому надо сдавать документы.

– Веди, – коротко приказал я. – Не дрейфь, Витя, – и с шумом хлопнул нового зна-

когого по спине, желая привести его в чувство. Похоже, это подействовало, и ко второму корпусу мы подходили уже приятелями.

Виктор вёл меня темным узким коридором с низко нависшим арочным потолком. Шли не спеша, чтобы успеть наговориться и закрепить впечатления. Разговор сводился к обычному – где, кто, откуда и почему решил поступать в семинарию, но мне было интересно, и сам я с удовольствием рассказывал о нехитром пути прихода к Богу. Я рассказал о своем детстве, проведенном в храмах и каждодневных молитвах, о том, почему решил сначала поступать в архитектурный, но разваливающееся государство разверзлось пропастью, уничтожив мои планы стать градостроителем, и моя дорога все-таки свернула обратно к церкви. Только раз я прервался, чтобы высказать свою приметливость:

– Такое впечатление, что коридор спускается под землю, – отметил я и продолжил рассказывать. Виктор же, хоть сразу бездумно согласился, но занервничал, поглядывая в окна. На его лице появилось напряжение. Я говорил, но краем глаза начал замечать, что Виктор слушает вполуха и все поглядывает по сторонам, сверяясь с окнами. Его напряжение передалось и мне. Мы прекратили разговор и шли, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к полу галереи. Несомненным было то, что уровень пола понизился так, что подоконники оказались на уровне земли за окном.

– Странно, – тихо заговорил Виктор. – Я уже ходил этим коридором – сдавал документы в канцелярию, но не обратил внимания, что он уходит под землю.

– Ну и что? – вполголоса спросил я. Виктор не ответил, и мы опять замолчали.

Наше напряжение выдал раздавшийся ниоткуда чих. Мы вздрогнули и остановились, вглядываясь в темные кутки. Виктор зачистил креститься. Руки его заметно тряслись. Пальцы побелели так, что во мраке светились. С расширенными от страха глазами я всматривался в полумрак коридора. Опять чихнули, но в этот раз я отчетливо уловил направление звука, инстинктивно обернулся на него, уперевшись глазами в пол под стеной. По правую руку, утонув порогом в черноте углубления, располагалась застекленная филенчатая дверь, своей аркой едва доходившая нам до уровня груди. Венцевала дверь металлическая табличка с едва различимой в сумраке надписью старославянским шрифтом «Библиотека» и загаженная временем и насекомыми. Стекла выкрашены в ту же краску, что и сама дверь. Красили последний раз, похоже, в очень давние времена, невозможно было разобрать изначального цвета. Может, коричневый?

Не верилось, что за такой дверью располагается библиотека или вообще что-то приличное. В лучшем случае, сырой чулан с ведрами и метлами. Я подцепил дверь, чтобы проверить, заперта ли она. Дверь, скрипнув, поддалась, а нам представился ещё один повод вздрогнуть.

– Заходи-тхи, – прокаркав, чихнули из глубины открывающейся нам неизвестности.

– Заглянем? – вполголоса предложил я.

– Не-е, – запротестовал Глист и собрался улизнуть. – Нам в канцелярию надо, – зашептал он дрожащими губами.

– Чего испугался?

– Я не того... не испугался, – едва живым голосом промямлил Виктор.

– Не дрейфь, – я успел схватить Глиста за рукав и подтянул к себе. – Это же всего лишь библиотека, – подбодрил я товарища и, не буду лукавить, себя тоже. Виктор попытался сопротивляться и отступить, но я крепко держал его руку. Тогда он немо закивал и снова быстро перекрестился.

– Что ты всё крестишься? – зашипел я на него, выдыхая из себя накапливающееся напряжение.

– С богом и в полымя можно...

– Цыц, – не дал я Глисту договорить, увлекая за собою. – Нравится мне, Витя, у вас. Похоже, учиться будет чрезвычайно интересно.

Чтобы войти в так напугавшую нас дверь, пришлось ступить в черноту ямы, а внутри её спуститься по двум квадратным глинобитным ступеням. Я силой тащил Виктора за собою. Если бы его не охватил ужас и, более того, страх поднять шум и тем самым

накликать большей беды, то Глист уже давно орал бы, как поросёнок перед заклинанием. Едва мне пришло в голову это сравнение, я тут же оглянулся и попытался всмотреться в глаза Виктора. Меня всегда изумляло, – как свинья чувствует, что ее ведут на заклинание? У Виктора глаза просто широко таращились и не мигали.

Мы спустились на самое дно ямы, и всё равно потребовалось пригнуться, чтобы войти. За дверью оказалась еще одна глинобитная ступень. После такого странного входа мы, наконец, очутились в небольшом полуподвале, чуть лучше сырого чулана, в котором вместо ведер и мётел, растянувшись до потолка, стояли в несколько рядов допотопные шкафы, набитые книгами. Освещалась библиотека несколькими узкими окнами, выходящими в мирскую жизнь через такие же узкие ямы, но уже со стороны улицы. В них мелькали только ноги людей и проходило немного света, по чьему-то решению достаточного для семинарской жизни. В глубине проходов, между шкафами, виднелся огромный письменный стол, с желтым пятном от света настольной лампы. К нему-то я и потащил приятеля, держа его крепко за руку.

Навстречу нам поднялась из-за стола тощая старуха. Она многосложно распрямлялась, казалось, еще секунда, и обязательно упрется головой в свод потолка, но старуха, наоборот, перегнулась пополам. На столе стояла табличка, указывающая, что перед нами не просто старуха, а секретарь-библиотекарь семинарии. Лицо секретаря-библиотекаря, двери, ступени, шкафы, книги и пол были одного цвета – землисто-коричневыми. Старуха помацала по столу костлявыми клешнями рук и, найдя, что искала, нацепила на нос. А когда разогнулась, на нас уже смотрели, блестя стёклами очков, выпученные глаза.

– Ко мне, отроки? – просипела старуха, проверив, ровно ли стоит табличка с указанием её статуса, и, оправив воротник блузы, добавила: – Что у вас там?

– К вам, матушка, – покорно сгорбившись, пролепетал Виктор. У меня появилось ощущение, что ещё секунда, и он кинется целовать старухины руки, но Виктор подтолкнул меня к столу, и его голос полился уже из-за моей спины: – Документики ищем куда сдавать.

– Что у вас там? – переспросила старуха, не обратив внимания на трепет Виктора и не сводя вопрошающего взгляда с меня. Я достал документы и начал раскладывать на столе, предварительно просматривая каждую бумагу, – вот свидетельство о рождении, справка об образовании, справка об отношении к воинской службе, направление от приходского священника и благочинного, медицинская справка, справка о крещении, автобиография, анкета и прошение на имя его высокопреподобия отца ректора митрополита Владимира. Старуха внимательно следила за моими действиями, не прикасаясь к раскладываемым бумагам. Когда же я, наконец, закончил, она сложилась в первоначальную позу, усаживаясь в кресло, и принялась самолично просматривать документы, перебирая и укладывая их в порядке, только ей понятном. Наступила моя очередь с интересом наблюдать за старушенцией. Мне почему-то показалось, что ей не очень-то удобно. И сидит она вовсе не в кресле, а на жердочке, как птица. Я ту же прозвал ее Птицей.

Наконец, документы проверены и уложены. Птица достала из верхнего ящика стола чистый формуляр и аккуратно записала в него мои данные. После чего согнула его пополам, сделав книжицей, и, еще раз проверив записанное, теперь вытащила уже из нижнего ящика амбарную книгу. В ней тоже оставила мою фамилию. Книга особо привлекла мое внимание. Это был толстый фолиант в латунной оправе с замочком. Ключик торчал в замочке, но старуха им не воспользовалась, только поправила. Пролистывая книгу, Птица невзначай приоткрыла некоторые тайны. На начальных страницах фамилии выписаны еще старославянским шрифтом. Стало быть, этой книге не один десяток лет. Может быть, и сотен, пришел я к удивительному заключению. Как Птица ни старалась прикрыть рукою свою запись, я смог увидеть её красивый каллиграфический почерк, с аккуратно выписанными завитушками.

После сделанной записи в книге старуха раскопала в нагромождениях на столе старый, замусоленный блокнот и, вырвав из него страницу, переписала и на неё мою фамилию и присвоенный мне по амбарной книге номер. Затем она всё-таки ещё раз сверила написанный номер с номером в амбарной книге и вручила листок мне:

– Это ваш читательский номер. По нему будете получать книги в библиотеке. Экзамены в понедельник будущей недели, – с этими словами она смела документы в охапку и, опять разложившись, вставая, вручила обратно. – Документы сдавать в канцелярию архимандриту Тихону, – в завершение прокаркала старуха, выбираясь из-за стола и направляясь к шкафам. – По коридору до конца, налево и опять до конца. – С этими словами старуха скрылась в недрах библиотеки.

Я не удержался и прыснул. Виктор умоляюще застыл, но это не помогло, потому что в ту же секунду из-за шкафа показалась старухина голова.

– Ступайте, – каркнула голова и скрылась. Мы, собственно, и не собирались задерживаться. Выйдя в коридор, оба с облегчением вздохнули. Я оттого, что вдохнул свежего воздуха, а Виктор с мольбою от греха подальше.

– Что теперь будет? Хоть бы не запомнила, – причитал Виктор.

– Да ладно тебе, – успокаивал я Глиста. – Чего мы такого сделали? Просто записались в библиотеку, – и в подтверждение покрутил перед его носом полученным от Птицы листком, с её каллиграфическим почерком.

– Бедная старуха, – шептал Виктор, не обращая внимания на меня, с каждым словом останавливаясь, чтобы перекреститься.

Я не понимал товарища и ожидал объяснений.

– Она, наверное, была в молодости красивая и счастливая, – к странному для меня выводу пришел Виктор, и его глаза округлились.

– Ты чего это вдруг? – опешил я от открытия Виктора.

– Отец мой говорил: если незаслуженно обидел человека, обязательно похвали его в голос. Боженька услышит и простит. Тогда убогий сразу забудет обиду и навета от него не последует.

– Тьфу ты! – от досады я развернулся и пошел прочь. Виктор догнал меня и, семеня рядом, затараторил:

– Скоро экзамены. Старуха может запомнить и навредить. Я не могу не поступить. Понимаешь?!

– Чего она запомнит, эта старая мокрица? – Из-за слова «мокрица» Виктор, частя, перекрестился трижды. Его состояние насторожило ещё сильнее, но я не собирался отступать. И всё-таки, от греха подальше, тихо добавил:

– Чего такого мы сделали, чтобы запоминать и на экзаменах нам вредить? – я больше не мог смотреть на трясущуюся фигуру товарища. От его вида меня тоже начинало колотить. Совсем раздосадованный, я круто развернулся и пошёл прочь, ища направление, указанное старухой-библиотекаршей, – до конца, налево и до конца.

Переполняемый досадой, я со злостью толкнул дверь с табличкой «Канцелярия». Моим глазам открылась захлавленная обстановка светлого кабинета, в дальнем углу которого за столом сидел батюшка и тихо посапывал.

– Гм, гм! – громко кашлянул я.

Тут же на меня зыркнули из-под густых бровей выпученные зенки святого отца, и его баритон пропел:

– Неча дверь пинать! По-очему без стука?

Но едва я собрался выйти, святой отец остановил меня:

– Коль вошел, стой, – и, пряча свои глазницы под густыми бровями, добавил. – Ожидай своего черёда, – и опять уснул.

«Как же, сон надо досмотреть», – иронично пояснил я себе неприветливость служителя семинарии. – «У-у, раздобрел Сыч». Назвал его Сычом и едва удержался, чтобы не улыбнуться меткости прозвища.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, решая, уйти или всё-таки дожидаться «своего черёда». Решение за меня принял проснувшийся святой отец:

– Величать меня архимандритом Тихоном. Чего тебе?

– Документы сдать, – спокойно пояснил я.

– Оно тебе надо?



– Сторож сказал, к вам сдавать, – не понял я святого отца и забеспокоился: туда ли попал? Не серия ли это номер два? Сначала карга-библиотекарша, теперь еще не хватало архимандрита разозлить. – И вот библиотекарша... – начал было я, но святой отец не дал договорить.

– Для чего? – архимандрит Тихон не сводил с меня пристального взгляда.

– Чтобы в семинарии учиться, – неуверенно пояснил я.

– Ишь ты, – оживился Сыч. – Сразу и учиться, – с этими словами, упершись в поручни кресла, он подтолкнул свое тучное тело и поднялся, чтобы коротко пройтись и резво усестись обратно. – Надо еще поступить, – лёгкая прогулка стряхнула с архимандрита дремоту, и голос его зазвучал бойчее и с ядовитенкой. – А в семинарию пришел, что – тоже сторож сказал?

– При чем здесь сторож? – я совсем разволновался и не понимал отца Тихона. Заметно было, и ему надоело или просто расхотелось шпынять отрока, и он сухо заключил:

– Давай, – сквозь зевоту отмахнулся отец Тихон, прикрывая рот пухлыми пальцами. Для этого ему хватило и двух.

Я положил перед архимандритом документы, уложенные старухой-библиотекаршей.

– Так, говоришь, Анастасия Игнатьевна видела их? – Сыч не собирался ждать ответа и, не глядя ни на меня, ни на документы, смахнул их ручищей себе под ноги на пол и коротко приказал: – Ступай, – и клюнул носом в стол.

Я поспешил покинуть канцелярию и спящего архимандрита. За дверью меня ждал Виктор. Я поморщился от мысли, что документов лишился, и не понятно, приняли их у меня или нет? Не зная ответа, я лихорадочно почесал затылок. Шаг сделан. В бездну ли, по твердой ли земле – видно будет только по истечении времени.

– Ну, что? – вопросом встретил меня Виктор, прерывая мои тягостные мысли.

– Сдал, – отмахнулся я. – Пошли скорее на улицу, – желая оторваться от товарища и его расспросов, я быстро пошел искать выход. Уже у самых дверей заметил уходящий влево темный коридор. Виктор не отставал. Я ещё злился на Глиста и, чтобы досадить ему, передумал идти на улицу, резко свернул в темный коридор, решив пройтись по нему, тем более что где-то там, в его глубине, пробивалась полоска света. Коридор каким-то странным образом был совершенно погружён в холодный, сырой сумрак. Мне казалось, что даже воздух, который я вдыхаю, тоже темный и сырой. С большим трудом различались надписи на табличках, украшавших каждую дверь. Таблички один в один, как и на дверях библиотеки и канцелярии, указывали, что это именно класс и его номер. Коридор оказался не слишком длинным и заканчивался на полоске света, которая исходила из приоткрытой двери с табличкой «Актальный зал». Я вошёл. Актальный зал замер в собственной пустоте. Свет в него проникал сквозь едва распадающиеся шторы. Чего-чего, а за штору я заглянул. Шторами прикрывались высокие окна, выходящие на городскую улицу. Чтобы с улицы не просматривалось, окна предусмотрительно закрасили белилами. За последние годы, наверное, только мне пришло в голову сунуть сюда нос, потому что подоконник был покрыт слоем пыли, которая от времени свернулась в лохмотья и была усыпана высохшими мухами. При моем появлении пыльные лохмотья зашевелились. Некоторые даже стали перекатываться из стороны в сторону. За окном слышались голоса улицы: шаги пешеходов, шум проезжающих машин, невнятные разговоры. Мне взгрустнулось. Окончательно впасть в меланхолию не дал шорох за спиной, от которого я вздрогнул и быстро обернулся. В дверях стоял Виктор. В этот раз я даже обрадовался его назойливости.

– Айда на улицу, – примирительно сказал я, проходя мимо товарища. Шли молча. Все-таки я не смог окончательно избавиться от странной грусти. Я чувствовал, как она начала прорастать, сеять в душе непонятную тревогу. Отчего она и откуда взялась? – спрашивал я себя, выскакивая на залитый солнцем двор. Ничего ещё не произошло в моей жизни за последние пару часов. Не считая прихода в семинарию, встречи с ректором, знакомства с чудаковатым Виктором, подачи документов Сычу и, конечно, этой странной старухи-Птицы в библиотеке. Это все обычные события, но я ощущал какое-то



тревожное возбуждение. Сердце у меня билось как-то болезненно-торжественно от предчувствия коренных перемен в жизни. Меня вдруг пронзила вина перед новым товарищем. Именно с таким чувством я обернулся к Виктору и протянул руку:

– Дружба?

Виктор коряво пожал плечами, втягивая в них голову, улыбнулся глазами, полными слёз, и всунул мне в руку свои холодные пальцы. Оба растроганные примирением, мы обнялись и от этого почувствовали еще больший прилив сил. Мы были уверены, что именно так ведут себя истинные семинаристы. С этой минуты мы несколько не сомневались, что обязательно поступим. Не сомневались, что боженька услышал Виктора и увидел мои искренние преобразования. Ведь начало моей жизни проходило на глазах у бога. Я выучил много молитв, если не сказать – почти все. Я был лишён детства, простаивая часами на службах в церкви. Это тоже должно идти в зачёт. С малых лет я готовил себя идти по стопам отца и поступить в семинарию. Ну, нашло бесовское затмение с этим архитектурным, но Провидение всё-таки привело меня на путь истинный. В конце концов завет матери будет исполнен. Она-то точно хотела, чтобы я стал батюшкой. И Птица обязательно должна забыть обиду на нас. Ведь иначе мне не пришлось бы в голову назвать её Птицей. Птица – это же не оскорбление. С такими рассуждениями я с легкостью прогнал из сознания голоса улицы.

До экзаменов оставалось чуть больше недели. С некоторым скрипом нам с Виктором разрешили разместиться в семинарском общежитии.

– Не выпроваживать же вас домой, – скрипел комендант общежития, дьякон Климент, выдавая нам постельное белье. – Будете болтаться по городу да срамить обитель. Зарубите на носу, – это временно! Не поступите – вашей выгоню.

– Ну чистый суслик, – вырвалось у меня.

– Чево?! – тут же обернулся дьякон и грозно посмотрел на нас.

– Дом вспомнил, – нашелся я, – с вами поговорил и о доме заскучал. «И все-таки суслик, с большой буквы суслик», – подумал я, глядя прямо в глаза дьякона.

– Тота, – удовлетворенно подвел дьякон.

Угрюмый, неприветливый дьякон развеселил нас с Виктором. Суслик оказался прав – мы не собирались ехать домой, а как он и предполагал, болтались бы в городе. Может, Виктор и вернулся бы, а мне ехать некуда. Тем временем Суслик набрал номер, скрежеща диском телефонного аппарата, и дал команду в трубку:

– Поселишь отроков до поступления. Одного в четырнадцатую, а другого в пятнадцатую, – для нас пояснил: – а то начнёте пакостить.

Я не понял уточнений святого отца, и некогда было выяснять, что он имел в виду.

– Вы нас в одну комнату поселите, – не дожидаясь, пока дьякон положит трубку, скороговоркой попросил я.

– Брат Климент, мы бы хотели вместе, – поддержал меня Виктор.

– Не брат я вам, – грубо оборвал дьякон. – Сначала поступите, а потом в братья будете записываться. Или так, или на улицу. Дежурный общежития ждёт, – и Суслик отвернулся, давая понять, чтобы убирались.

Нас огорчило поведение дьякона. Такое отношение служителя семинарии к нам было первым разочарованием на избранном мною поприще. Чем вызвано подобное самодурство и как объяснить его? Мы попытались, против воли коменданта, поселиться вместе в одной комнате, но зоркий дежурный проследил, чтобы приказание Суслика было выполнено. И всё же радость нам не удалось омрачить. Во-первых, есть где ночевать, не на улице всё-таки, а во-вторых – комнаты наши находились через коридор, дверь в дверь. Застелив постели, счастливые, мы качались на кроватных сетках, глядя друг на друга в открытые двери. Вот мы и в семинарии!

Все дни мы с Витькой проводили за чтением и зубрежкой молитв, собираясь то в его комнате, то в моей. И только ночевать расходились восвояси. По совету семинарского

сторожа Семена посещали городские церкви и активно знакомились с их служителями. Мы непременно рассказывали всем, что приехали учиться в семинарию. В ответ получали одобрительные напутствия и пожелания. С одним из служителей церкви мы даже встретились в семинарии и долго стояли посреди двора, разговаривая. Я с гордостью поглядывал по сторонам, и мне даже показалось, что в окнах ректорского кабинета зашевелилась штора. Через пару дней и тени не было сомнения, что мы поступим. Считай, уже поступили. Ведь батюшки общаются друг с другом и, наверное, уже донесли ректору о нашей искренности и большом желании учиться в семинарии. Не могли не донести! Чего стоил наш разговор с батюшкой у всех на виду! Ведь не случайно же шевелилась штора. И даже если чуть-чуть слабовато будут сданы экзамены, то приемная комиссия не может не учесть нашего сильного желания стать священниками. Такие разговоры воодушевляли сильнее, и мы с Виктором с еще большим усердием зубрили молитвы и простаивали все службы в церквях, чтобы нас заметили.

Как-то возвращаясь в семинарию после вечерней службы в Свято-Георгиевском соборе, мы решили погулять в городском парке. Оба уставшие, на отяжелевших от долгого стояния ногах, тащились по аллее, подсознательно ориентируясь друг на друга. По молчаливому согласию остановились у одной из лавочек и, не сговариваясь, рухнули на неё. Я сидел и жадно вдыхал воздух свободы, внутренне готовя себя к возвращению в затхлые стены семинарии. Виктор с угрюмым видом возил ногами по земле, выбивая ямки. Нашу молчаливую тишину нарушило приглушенное ржание ломающегося юношеского голоса. Только сейчас мы обратили внимание, что на противоположной стороне аллеи за редким кустарником сидела парочка, мало-помалу, как бы нечаянно, распускаящая узел созревающих желаний. Мы как прикованные впились взглядами в молодых людей. Особенно привораживала девушка, которая ещё находилась в том возрасте, когда природные инстинкты порождают милое ощущение удовольствия во всем организме, когда любое прикосновение так раздражающе интересно, когда «можно умереть со смеху» и «лопнуть от счастья» и когда «ах» и «ох» составляют прелестный и несложный словарный запас эмоций.

Мы тащились в обитель, как побитые пустым мешком. И, едва оказавшись за воротами семинарии, посмотрели друг на друга. Я увидел во взгляде Виктора, что мирская суета причиняет ему душевные мучения! Не буду лукавить, но меня тоже терзала тоска расставания с городским разнообразием и пестротой и, конечно, с увиденной девушкой. Ведь и я мог бы вот так сидеть с подружкой в городском саду и любоваться сумерками. Мы прекратили выезжать в город, отдавшись власти семинарского полумрака, в котором, чадая воском и елеем, тускло мерцали одни лишь свечи и лампы. Наше добровольное преждевременное затворничество особенно тяжело переносилось в преддверии выходных. Я никак не мог уснуть и долго ворочался в постели. Уже с посеревшим утренним небом мне удалось забыться. Зато с самого утра субботы всё забилося и завертелось новизною и предполагаемыми знакомствами.

Меня разбудила необычная оживленность во дворе, нарушившая господствующий покой. Я открыл глаза с ощущением, что сомкнул их на мгновение. За окном во всю светило солнце, уже с самого утра начиная припекать. По всему двору разносился басок сторожа Степана. Он говорил негромко, но как-то из горла, и его голос, как звон большого колокола, возвещал на всю семинарию. Я сорвался с постели и прилип к окну. Вокруг Примуса сгрудились несколько святых отцов разного весового калибра. Они внимательно слушали размахивающего руками сторожа. Рядом стояли разбросанно отроки – будущие семинаристы. Никто из них прямо не смотрел на чужаков. Отроки искоса разглядывали друг друга и с надменным хозяйским видом озирали двор и постройки семинарии. Каждый из них старался всем видом показать, что вопрос поступления для него решенное дело.

Наконец не одни! – обрадовался я и поспешил будить Виктора, чтобы сообщить долгожданную новость. Мы быстро собрались и выбежали во двор, чтобы ближе рассмотреть

новичков и завести новые знакомства. И так, начали съезжаться будущие наши однокашники.

Когда мы оказались на улице, вереница вновь прибывших парами, с сумками на перевес, прошествовала мимо. Святые отцы следовали не спеша, только искоса взглянув в нашу с Виктором сторону. Зато их отпрыски разглядывали нас с любопытством и нескрываемой завистью. Все желали быть первыми. Мы с Витькой смотрели победителями. Я даже успел подмигнуть белокурому парню. Он ответил мне важным кивком головы, старался не отставать от отца, чтобы соблюсти строй. Из колонны выделился парень-верзила и, подойдя к нам, протянул здоровенную руку:

– Здорово! Семен, – представился новичок. – А вы из какого класса?

– Егор, – назвался я, пожимая протянутую руку. – Мы тоже поступающие.

– О-очень хо-орошо-о, – пропел несколько разочарованный Семен. – Будем вместе учиться. Тогда встретимся на экзаменах.

– Устроишься, выходи, ходим в город, погуляем, – сразу предложил я, а про себя отметил – кувалда, да и только.

– Хорошо. Хотя, думаю, не получится, – почесав затылок, посмотрел в след процессии Семён, но он не успел объяснить почему. Из колонны к нам обернулся один из святых отцов и грозно поманил его, на что верзила сорвался с места догонять, махнув нам: «Потом». Вновь прибывшие, судя по направлению, шли в канцелярию сдавать документы, а затем по знакомому уже нам маршруту – к коменданту на поселение.

Зря мы с Виктором ждали вечера, чтобы хоть с кем-то познакомиться. Святые отцы с отроками после организационной суеты разошлись по комнатам и больше не выходили. Мы долго сидели с молитвословами во дворе, но все зря. Только однажды на крыльце общежития появился один из батюшек. Он долго и пристально смотрел в сторону сторожки, пока не появился Степан. Святой отец зычно выкашлялся, и когда Примус обратил на него внимание, поманил его рукой. Примус вразвалочку поплёлся к батюшке. Святой отец терпеливо дождался нахального сторожа, но как только тот приблизился на расстоянии вытянутой руки, схватил Примуса за воротник и подтянул к себе. В назревшем гневе, выпучив глаза, отче принялся шептать прямо в ухо сторожу, при этом сунув тому что-то в жменю. Степан взглянул на то, что ему дал батюшка, и встряхнулся, затоптался на месте в нетерпении, мгновенно преобразился в слух. Едва святой отец закончил, Степан расплылся лъстивой улыбкой и подался угодливо вперед. Честного отче больше не интересовала личность сторожа, он невидящим взглядом попрощался с ним и ушёл. Степан еще некоторое время благодарно смотрел вслед батюшке, затем ещё раз проверил, то ли в руке, что он увидел, а удостоверившись, пронесся мимо нас заводной метлой. Через некоторое время Примус прошелестел в другую сторону и скрылся в общежитии.

Солнце раскаляло брусчатку двора. Мы с Виктором, как два тополя на Плющихе, красовались на единственной скамейке, подпирающей стену. Нас безжалостно палило солнце, но мы упорно ожидали, что, может быть, кто-то из отроков выйдет.

– Пошли отсюда, – предложил я товарищу, но не успел он ответить, как на крыльце общежития показался Примус с довольной физиономией. Выскочив на улицу, Степан снова удостоверился, не обманул ли его святой отец и то ли лежит у него в руке. То! – говорила его сияющая морда, – и уже отработанное. В этот раз он проходил мимо нас вальяжно.

– Стало быть, задание святого отца отработано, – с иронией подтвердил я вслух свои наблюдения.

– Что ты сказал? – не понял Виктор.

– Так, ничего, мысли вслух, – отмахнулся я от товарища. – Слышь, Примус! – но сторож словно оглох. – Степан! Чего они там делают?

– Читают церковнославянские книги и зубрят молитвы, – многозначительно произнес Степан, воздев перст кверху. И уже оценивающе окинув нас с ног до головы, добавил: – Не то, что вы, лоботрясы, – и удалился к себе в сторожку. На сегодня о Примусе можно было забыть, и причиной тому – срубленный у святого отца барыш.

– Что это с ним? – удивился неожиданной перемене сторожа Виктор.

– Барыш помутил ему разум, – с тоскою ответил я.

– Какой еще барыш? – не поняв, переспросил Глист.

– А, отстань. Пошли домой, – настроение у меня испортилось не на шутку. Мне не хотелось пересказывать сцену, свидетелем которой я оказался и которая прошла мимо внимания Виктора.

Мы с Виктором, разочарованные, отправились восвояси. Наше чувство гостеприимства оказалось попраным, и меня опять посетили смутные сомнения. Пока еще поверхностное знакомство с духовным миром успело дважды испортить настроение и усомнить в избранном пути. Но я не привык отступать, а если и останавливаться, то доведя начатое дело до логической развязки. Я нашел себе успокоительное объяснение в том, что это всего лишь трудное начало в новых складывающихся обстоятельствах и еще предстоит выработать свое личное отношение к вере и Богу персонально. Не могут все люди быть одинаковыми. У каждого свой путь к богу. С такими мыслями я укладывался спать. Виктора тоже будоражили тяжелые думы, но он все-таки склонился на вечернюю молитву. Я же решил сегодня пропустить и выспаться грешником. Может быть, не таким уж и заклятым, поскольку не было поводов грешить телесно, но за крамольные мысли следовало обратиться перед сном к Богу.

Следующий день не принес особых изменений и новых знакомств. Святые отцы отправились в соседний с семинарией храм, в котором и провели весь день. Неряшливые их отроки с распатланными волосами слонялись по темным коридорам и закоулкам семинарии с молитвенниками в руках и все зубрили и зубрили, делая вид, что им нет дела друг до друга. Особо усердствовали, когда мимо проходил кто-то из служителей семинарии. Тогда они начинали декламировать молитвы и заискивающе улыбались. Некоторые, отважившись, подбегали, чтобы схватить и приложиться к руке священнослужителя. Тот, в свою очередь, шарахался и прибавлял ходу, чем ставил в затруднение льстеца. Но ненадолго! Так повторялось неоднократно. В перерывах зубрежки отроки бесшумно перемещались, озираясь, прислушивались к загадочному семинарскому молчанию, заглядывали в пустые аудитории и всматривались в угловые тени. Нам с Витькой ни с кем еще не довелось познакомиться, но враждебность в нас уже зрела. К кому бы я ни подходил, тот сразу убежал, как чёрт от ладана. В каждом отроке я пытался разглядеть вчерашнего единственного знакомого Семёна, но тот как сквозь землю провалился. И чёрт с ними!

Вечером сторож Степан встречал возвращающихся святых отцов ударом в дворовый колокол, которым служила корабельная рында. Они шли, мирно беседуя. И только покрасневшие их лица и слегка подсиненные изрытые носы говорили о том, что их обладатели только что встали из-за сытного стола, во время которого и выпить подавали.

– Всем поступающим собраться в актовом зале, – на весь двор громогласно возвещал Примус, приглашая на всеобщий сбор будущих семинаристов.

– Разгорланился, окаянный. Всю преисподнюю созовёшь, ирод, – прикрывая ухо, выругался проходивший рядом со сторожем один из святых отцов, которому досталось больше всего от колокола и Степана.

Мы с Виктором тоже отправились на собрание. В актовом зале восседал наш старый знакомый – ректор семинарии митрополит Владимир. После той памятной мне и неожиданной встречи до сего дня не довелось больше встречаться с ректором. Зато составлял отцу Владимиру компанию отец Михаил, с которым мы тоже успели за прошедшую неделю познакомиться. Отец Михаил – служитель соседнего собора. Как впоследствии выяснилось, он преподает в семинарии. Мы встретились с отцом Михаилом в одно из посещений храма и поддерживали хорошие отношения. Правды ради, я не сделал для него исключения, навесив – Барсука. Бедное животное!

Здесь же находился и заведующий канцелярией архимандрит Тихон. Сыч! Слева от ректора мирно сидел и, как мне показалось, дремал мужчина с тучной фигурой. Если бы не его полосатый костюм, я точно решил бы – поп. Уж очень физиономия его походила на поповскую. Словно скрывшись в темноте угла, за маленьким столиком спряталась старуха из библиотеки. Интересно! Дьявол и Птица служили одному делу!

Когда мы вошли, отец Михаил едва заметно кивнул нам, но жест его не остался незамеченным. Ректор тут же оборотился в нашу сторону и, пока мы не уселись, провожал пристальным взглядом. Отец Михаил что-то шепнул ректору на ухо. Мне очень хотелось узнать, о чём он поведал, но я не сомневался – речь шла о нас. Ректор отстранился и всё с тем же, уже знакомым мне прищуром посмотрел в нашу с Виктором сторону. Несмотря на то, что в актовом зале уже присутствовало несколько человек, всё равно сохранялась тишина. Даже отец Михаил так тихо шептал, что был слышен скребущий звук карандаша, которым водила Птица. Виктор прикоснулся к моей руке и, очень смешно вытаращив глаза, ткнул носом в сторону старухи. Я уже успел заметить библиотекаршу, но меня изумила холодность пальцев товарища. Я почувствовал неладное и едва собрался спросить, все ли с ним в порядке, как Виктор быстро приложил палец к губам и, переведя дыхание, закивал головою, запрещая мне и звук проронить. Его обезумевший взгляд застыл поодаль от старухи. Поднявшаяся возня оказалась единственным шумом в этой ячейке внегробного мира. В тот же момент на нас устремили взгляды и умолкший отец Михаил, и ректор. Я всё-таки решил взглянуть, куда указывал Виктор. Белым пятном ряссы, спрятав лицо в тень шторы, сидел неизвестный мне святой отец, которого я даже не сразу заметил.

– Кто это? – одними губами вывел я, на что Виктор только одернулся и застыл. – Ты чего? – не отступал я, не желая понимать товарища, пока не получу вразумительного ответа. Тогда Виктор также одними губами ответил:

– Это инспектор семинарии – Отец Лаврентий.

Тут настал мой черёд замереть. Я не смог рассмотреть лица инспектора, но мне казалось, что он глядит сквозь меня. Спина взмокла мгновенно. Ещё от своего покойного отца я был слышан об инспекторе семинарии, о его могуществе и коварстве. Когда к отцу приезжали погостить священники разных приходов, то обязательно, хоть вскользь, заходил разговор о брате Лаврентии. Отец слушал очередные жалобы и сожалел:

– Да, да, сколько жизней сломал, – и, тяжело вздохнув, добавлял: – Доберусь как-нибудь до этого стервеца.

Отец не добрался, а я в его руках. Меня начали тяготить тишина и ожидание. Наконец, дверь распахнулась, и вошла первая пара – святой отец с отроком, а следом потянулись и остальные прибывшие поступать. Они парами подходили к ректору для приветствия. Святые отцы по-разному представляли своих отпрысков – кто хлопал подбадривающе по спине или просто подталкивал, кто взъерошивал оболтусу на затылке волосы и в нужный момент склонял его голову перед ректором. Отец Михаил приветствовал входящих стоя, а ректор продолжал восседать.

Святым отцам приходилось наклоняться, чтобы трижды приложиться с митрополитом Владимиром, отроки целовали ему руку, а затем переходили к отцу Михаилу. Зрелище разворачивалось омерзительное. Я даже позабыл об узурпаторе-инспекторе. Батюшки текли, расплываясь в сальных улыбках и поправляя бороды, расцеловывались с высшими чинами семинарии. Отроки же, будущие батюшки, ужами ползали у ног будущих наставников, перед которыми им придётся пресмыкаться годы обучения. И всё это действие подмазано заискивающими взглядами, в которых жадным блеском горела пёсья преданность. Находились особо нахальные. Они с напускным трепетом принимали дрожащими ладонями руку святого отца и медлительно целовали её, рассчитывая на то, что именно его приметят и отличат от других, как более достойного, и возлюбят ещё до экзаменов. Я не на шутку забеспокоился за свою судьбу. В памяти начали восставать неуместные шутки, допущенные за эти несколько дней пребывания в семинарии. Grimасу на меня нагнало воспоминание о разыгранном юродивом горбуне, и я с силой потёр лоб, ничего лучшего не найдя в своем арсенале, – как противостоять судьбе. Виктор ткнул меня в бок, но я уже и без него догадался о нашей последней и убийственной промашке. Мне стало не по себе, но еще больше было смотреть на товарища.

– Иди, вон там пристройся, – я взглядом указал в конец процессии и, чтобы хоть как-то поддержать Виктора, ободрительно похлопал его по плечу.



– А ты?

Я отрицательно покачал головой. Для себя решил проще – семь бед, один ответ!

– Пойдем вместе, – умоляя, он потянул меня за рукав, схватившись за спасительную возможность приложиться к руке ректора. Но мне не хотелось.

– Иди скорее, пока не видят, – поторопил я Глиста, желая избавиться от его уговоров. Виктор, смешно ссутулившись, прошмыгнул рядами и пристроился последним в колонне. Я всем видом поддерживал товарища. Мой взгляд выхватил из толпы Семёна, и мы поздоровались, как старые знакомые. Семён, приветствуя меня, как-то нескладно поднял вверх руку со сжатым кулаком и заулыбался во всю ширь своего огромного, как он сам, рта. За что тут же заработал оплеуху от отца и потерял ко мне интерес. Я усмехнулся – надо же, Кувалду приструнили!

Процессия медленно продвигалась. Наконец, наступила очередь Семёна с отцом, следующим был Виктор. Глист занервничал еще сильнее, переминаясь с ноги на ногу, словно пританцовывая. Он с силой растирал стынущие пальцы, но было видно, что это ему не помогает. Отец Семёна протянул к брату Владимиру обе руки для приветствия, ректор, уцепившись за них, встал, и они трижды облобызались, как давно не видевшиеся приятели, однако на этом не остановились. Обойдя вниманием брата Михаила, отец Семёна бросил короткий взгляд за спину и, убедившись, что больше никого нет, взял митрополита Владимира под локоть и повернул к личному разговору. Обрадованные встречей, святые отцы, тихо переговариваясь, пошли по центральному проходу актового зала, провожаемые многочисленными желчными взглядами, засаленными напускными улыбочками. Виктор остался стоять в полном одиночестве у всех на виду. Семён же особенно не огорчился, что не довелось приложиться к руке святого отца, наскоро поцеловал руку отца Михаила и, пробежав, пока не видит батюшка, рухнул в кресло рядом со мною, устроив изрядный грохот. Ему тоже досталась от отроков порция злых усмешек, которые красноречиво говорили – этот уже поступил. Но Семёна ничто не волновало.

– Здорово! – приветствовал меня обрадованный Семён.

– Привет. А ты куда пропал? – я машинально поздоровался, не сводя взгляда с обезумевшего Виктора.

– Отсыпался. Придавил на каждое ухо минут так по шестьсот, – заржал Семён и показал на Виктора: – Чего он застрял? Хватит там стоять, иди к нам, – махнул Семён ему рукой.

Сердце мое сжалось. Было видно, что Виктор никак не может справиться с нервным оцепенением. У него не было сил даже просто удрать, такой удар он испытал. Глист переводил взгляд с меня на инспектора, который всё время что-то записывал в толстую книгу. На Виктора не обратил внимания и отец Михаил, готовясь начать собеседование. Не дождавшись приветствия от замешкавшегося отрока, он указал, чтобы тот занял место в зале, тем самым «добывая» Виктора. В этот раз я решил не бросать товарища. Была не была! Я подошел к нему и отпустил ему звонкую пощечину. В ту же секунду Виктор обмяк, я едва успел его подхватить, потому что теперь моего товарища не держали собственные ноги, в одночасье превратившиеся в ватные. Мне на помощь бросился Семен. Дотащив Виктора к переднему ряду, мы втроем, устроив еще один грохот, свалились в кресла. Отец Михаил выжидал, когда мы успокоимся, грозно взирая на происходящее. Разговаривающие в глубине актового зала святые отцы не прервали беседы, только отроки угодливо прыснули и тут же умолкли под строгим взглядом Барсука. А Виктор тихо заплакал у меня на плече.

Семену же не унималось. Он ещё раз выступил возмутителем порядка – резво вскочив, перелез через ряды, собрал оставленные вещи на прежнем месте и, склонив голову набок, виляя задом между рядами, вернулся к нам.

– Не бросать же вас, – пробасил улыбающийся Семен и снова рухнул с грохотом в кресло.

На что отец Михаил грозно взглянул на него и тут же помягчел, поскольку Семён расплылся понятливой улыбкой и проблеял:



– Извините, батюшка.

Можно было начинать. Отец Михаил осенил тройным знамением присутствующих и начал:

– Ректор семинарии митрополит Владимир благословляет вас с почином, – и он указал в конец зала на беседующих святых отцов. Все обернулись, и в очередной раз льстивые улыбки заскакали по лицам, смеялись в голос, чтобы лишний раз обратить на себя внимание, но ректор не слушал, о чём идёт речь, только бросил короткий взгляд и продолжил внимать речам друга-коллеги. Затем отец Михаил также ретиво представил инспектора семинарии, назвав его братом Лаврентием. Чтобы отыскать последнего, Барсуку пришлось покрутиться в разные стороны, а, найдя, он в свою очередь одарил инспектора раболепной улыбкой. Брат Лаврентий на представление не вышел, но весь зал увидел его зоркий, колющий взгляд на болезненно-бледном лице и, как мне показалось, впоследствии больше не забывал о нём, хотя тот и сидел, спрятанный темнотою угла.

На представлении руководства семинарии резовость речи отца Михаила и закончилась, потом он говорил долго и монотонно. Всё сводилось к тому, каким будет вступительный процесс и насколько он важен для будущего батюшки. Так мы узнали, что сначала все должны пройти собеседование, на котором мы как раз присутствуем. Затем две комиссии: одна – медицинская, за неё есть ответственный, он и расскажет, и вторая – непосредственно духовная, за которую отвечает он, отец Михаил. «Кто не пройдет первую комиссию, на вторую может не являться, – вещал Барсук. – Священнослужитель должен иметь крепкое здоровье». Отец Михаил подвел черту и обернулся к митрополиту Владимиру, который к этому времени уже закончил разговор и восседал перед залом. Ректор многозначительным кивком подтвердил слова отца Михаила и взглянул на дремавшего слева от него толстяка в полосатом костюме. Тот, словно почувствовав внимание к себе, встрепенулся и резово вскочил.

– Значит так, я, Илларион Трифонович Плогий, – завопил полусонный толстяк, – отвечаю за медицинскую комиссию. Завтра, значит так, в восемь утра придут врачи, значит так, и приступим. Всем, значит так, быть вон в том корпусе, – указал себе за спину толстяк. – Кому повезёт, с того сначала слезут три шкуры, пока сдаст мне догматическое богословие, преподавателем коего я буду для счастливых, вытацивших проходной билет.

– Вот тебе и барабан в нашем оркестре, – выдал я мысли вслух.

– Чего? – не расслышал Виктор, но я не стал повторять, а только приложил палец к губам.

От услышанного отроки приуныли, а их отцы встрепенулись, обмениваясь улыбками. Кто-то бросил из зала:

– Правильно! Что с сыном, что с ослом разговор один – батогом, – и по залу разлетелся зычный гогот сказавшего. Святые отцы одобрительно закивали и поддержали разноголосым ржанием. Плогий подождал, давая батюшкам повеселиться, и закончил:

– У меня, значит так, всё, брат Владимир, – с легким поклоном обратился Барабан к ректору и вновь занял свое место. Священники-наставники семинарии, сделав своё дело, умолкли.

Ректор, собирая всеобщее внимание, выдержал паузу, которая всем присутствующим показалась тяжелее свинцовой гири. Затем, не проронив ни звука, встал. Следом за ним поднялся и весь зал. Святые отцы вперемешку с отроками потянулись, чтобы, прощаясь, снова приложиться к руке митрополита Владимира и отца Михаила. В этот раз все просто целовали руку, и святые отцы тоже, своею показною покорностью заслуживая расположения для отпрысков. По их виду и поведению было заметно, что медкомиссия озадачила.

Мы с Виктором подошли последними. Опять я уловил бешеную лукавинку в глазах ректора, когда поцеловал руку и снизу взглянул на него. А может, показалось. Прощание получилось. Виктор приложился тоже к рукам обоих отцов, отец Михаил даже возложил на его голову свой перст, и поэтому Виктор шел в общежитие в приподнятом настроении.

Я слушал товарища глазами, потому что мысли мои бродили в темных комнатах сознания, и слух мне нужен был там. Но Виктор не замечал моего настроения. И, слава Богу!

Наутро всех поступающих выстроили в тёмном коридоре второго корпуса. Собралась разношёрстная компания. Здесь можно было увидеть и безусых юнцов, и парней, прошедших огонь, воду и медные трубы, таких как я, например. Во всяком случае, я приметил нескольких человек, которые, по моему заключению, подходили мне по возрасту и за плечами которых просматривалась армия. Большая часть никакого пороху не нюхала, о медных трубах и говорить нечего. Вдоль шеренги вышагивал вчерашний толстяк Плогий и рассматривал каждого в отдельности. Сегодня от него дурно пахло, похоже, толстяк не ночевал дома.

– Чем это воняет? – воскликнул худенький паренёк, опоздавший к общему сбору и вскочивший в строй перед самым носом проходящего Плогия. Барабан тут же резко обернулся к возмутителю спокойствия и уставился на него, буравя злым взглядом. Пареньку оставалось только покраснеть от осознания несвоевременной несдержанности, но он выдержал злой взгляд Плогия. Барабан ещё дважды прошёлся взад и вперёд и вдруг прокричал:

– Значит так! Всем раздеться!

Шеренга зароптала. По правде сказать, и мне не особенно хотелось раздеваться. Толстяк не спешил, давая нам выпустить пар, и членораздельно продекламировал:

– Вещи сложить на кресла вдоль стены. Значит так, – сказанное он подкрепил жестом руки, указав направление, – перед вами. – Для последней фразы толстяк набрал больше воздуха в лёгкие и перешёл на скороговорку: – Не теряем времени, поскольку врачи, значит так, ждать не будут, а без медкомиссии не будет зачисления в семинарию, а ... – Барабан хотел что-то ещё добавить, но запнулся.

– Значит так! – выкрикнули из шеренги, кривляя Плогия.

– Быстро раздеться! – рявкнул Барабан, ища глазами кривляку, но ничего не смог придумать, как злобно промычать: – Вот так.

От вида Барабана отрокам было не до смеха. Последние слова его подействовали магически, и все бросились стягивать с себя одежду. То там, то тут по шеренге раздавались смешки и шуточки. Еще секунду назад раздевание вызывало бунт в душах отроков, но уже мгновение спустя они веселились, разглядывая свои костлявые, иссиня-прозрачные от постоянных постов тела. Неожиданно мальчишки умолкли и стали расступаться в разные стороны. Взоры их потемнели, пропитались тревогой и устремились в конец коридора. Из глубины, из самого его чрева, откуда не возьмись, прямо на нас шёл инспектор отец Лаврентий. Толпу прошло из уст в уста «инспектор-инспектор-инспектор». Я тоже узнал знакомый силуэт (со сцены в актовом зале) и заворуженно ждал приближения инспектора, чтобы, наконец, увидеть его лицо. Брат Лаврентий, облачённый в одежды цвета слоновой кости, остановился возле толстяка, не сводя с нас застывшего взгляда. Высокая камилавка, водружённая на голове, делала инспектора чуть ли не вдвое выше. Впалые щеки зловеще вычерчивали увесистый подбородок, с которого стекала на грудь скудная бородёнка. Инспектор настолько был худой, что, казалось, кожа натянута на кости. Впалые глаза тонкими разрезами сверкали из-под массивных надбровных дуг, разбрасывая по сторонам искры уничтожающего огня. Не дай бог попасться под эти искры!

«Н-да-а! – приуныл я. – Отец не добрался, это так. А я не в руках инспектора – в клюве! Цапля- цаплей!» Мне неоднократно доводилось видеть, как цапли в наших плавнях собирали лягушек. Я подолгу наблюдал за этим самым обычным обедом и представлял цаплю из детских сказок и былин – цапля-профессор, цапля-учитель, цапля-воспитатель – с ученой книгой, ручкой и непременно в очках. А у нас в плавнях, вон он, важно поднимая ноги, ходит этакий учитель и тюкает клювом-торпедой в лягушек, подкидывает оглушенных тварей и, задрвав клюв, словно регоча, заглатывает их. Бедные лягушки только успевали лапками помахать у края клюва и заправлялись в глотку. Я смотрел на отца Лаврентия, и всё, что мне представлялось, это то, как он меня заглатывает, а я

ручками машу моим не состоявшимся однокашникам и проваливаюсь к нему в утробу. Мне было из-за чего приунуть.

Плогий заулыбался и живо подался всей своей бесформенной фигурой к инспектору. Цапля что-то ему проговорил одними губами. Всматриваясь в лицо Плогия, я не мог разобрать, то ли толстяка смутило услышанное, то ли он не понял слов инспектора и должен обязательно переспросить, но толстяк поняливо искрнул усмешкой и тут же выступил вперёд. Глотка его зычно прокричала:

– Значит так! – в голосе его зазвучало предвкушение удовольствия от предстоящего, заказанного братом Лаврентием, действия. – Трусы спустить до колен!

Против обычного – все подчинились безропотно. Что мне, прошедшему армейские бани и медосмотры? Для многих же – это безобразие, но страх перед инспектором оказался сильнее. А может так и надо на медосмотре в семинарии? Отроки терялись в догадках и неуверенно, поддерживая друг друга собственным примером, опускали трусы. Цапля вошёл в образованный коридор и, рассматривая голых ребят, медленно двинулся вдоль него. Шествие инспектора сопровождалось тревожным шорохом. Брат Лаврентий так и ушёл в темноту, только уже в другое крыло коридора. Все с облегчением вздохнули, и гвалт поднялся с новой силой.

Для семинариста инспектор – главное лицо в семинарии. Нет, конечно, ректор – самый главный! И семинарист может ему пожаловаться на инспектора. Но... На бога надейся, а с инспектором не оплошай!

– Построились! – рявкнул Барабан, криком приструнивая беспорядок. Когда все построились, он опять прошел вдоль шеренги, оценивающе разглядывая отроков. Повидимому, удовлетворившись, проследовал в кабинет и вышел из него с толстым журналом в руках. На этот раз Барабан проходил медленно, буравя своими глазками каждого отрока. Вдруг он остановился и, ткнув карандашом в грудь избранника, выкрикнул:

– Фамилия?

– Ревенко, – испуганно проблеял юнец.

– На комиссию, – указав карандашом за спину, толстяк размашистой галочкой отметил в журнале фамилию и продолжил свой путь.

Вся шеренга замерла и выпрямилась в напряжении – наконец-то началось! После первого вызванного Барабан долго дефилировал вдоль шеренги, словно забыв, для чего нас собрал. Остановился он так же неожиданно, как и в первый раз. Я уже приготовился, внутренне застыв, но толстяк ткнул в моего соседа:

– Фамилия?

– Иванов, – неуверенным от напряжения голосом признался отрок.

– Как же ты с такой фамилией Всевышнему служить будешь? – язвительно поинтересовался толстяк, озадачив вопросом русоволосого доходягу.

– На Руси все Ивановы... – дрожащим голосом начал отрок, но Плогий не дал ему договорить и гаркнул, оборвав на полуслове.

– Так то ж на Руси, а не в Царствии Небесном. На медосмотр! – и в след убегающему Иванову с усмешкой прокомментировал: – Тоже мне причина в батюшки идти, – и зло оскалился.

Отроки даже боялись посмотреть на зверствующего Плогия, а он, прохаживаясь вдоль шеренги, потешался и отправлял по своему желанию очередного на медосмотр, как на заклятие, при этом ставя против его фамилии размашистую галочку. Чего только стоили комментарии, которыми осыпал Барабан головы бедных отроков!

До меня очередь никак не доходила. Хотя толстяк пару раз останавливался рядом, но только чтобы отправить соседа справа и затем – слева. Все остальные его маршруты пролегли мимо.

В самый разгар медосмотра все вдруг увидели ректора. Можно было только догадаться, что он вошёл через боковую дверь, поскольку стоял возле неё, ожидая, когда Плогий закончит с очередным отроком. Появление ректора приструнило шеренгу. Мы подтянулись и умолкли. Цапля срамил, заставив снять трусы. Что от этого ждать? Власти

у него вдвое больше. Толстяк тут же завращал глазами по голым отрокам, ища причину изменения нашего поведения. Когда взгляд его остановился на фигуре ректора, он подтянулся, попытавшись втянуть живот, и, чеканя шаг, подошёл к нему. Тот его о чём-то тихо спросил, и они принялись, бубня, переговариваться. Ректору пришлось слегка склонить голову набок, чтобы лучше слышать коротышку Плогия. Барабан же вытянулся на цыпочках и говорил одними губами, тыкая в подтверждение сказанного в открытый журнал. Ректор бросал взгляд следом за пальцем толстяка и исподлобья рассматривал проредившуюся шеренгу. Как мне показалось, особо его занимала моя персона. Почувствовав к себе интерес митрополита Владимира, я отвернулся, чтобы не провоцировать в себе самоедства, которым в избытке страдал мой товарищ Виктор, пытавшийся всячески и меня этим заразить. В очередной раз я обратился к Богу, поблагодарив за то, что Виктора среди оставшихся нет и он уже проходит медосмотр. Всё-таки мне пришлось обернуться, когда я краем глаза уловил, что толстяк смотрит в мою сторону и получает указания от отца Владимира. Моё любопытство оказалось оправданным – их внимание было обращено к моей персоне. «Да и чёрт с ними», – досадливо отмахнулся я, на сей раз призвав бога из другого царства.

Хлопнувшая дверь известила о том, что ректор удалился. Толстяка озадачил разговор со столоначальником, и он продолжал стоять, отвернувшись от нас и уставившись в немую дверь, за которой скрылся ректор. Затем он круто повернулся и быстро подошёл ко мне.

- Фамилия!
- Крауклис.

Плогий не смог скрыть замешательства. Он медлил записывать и все-таки не выдержал:

- По буквам.

– Ка, эр, а, у, ка, эль, и, эс, – не моргнув, я быстро назвал по буквам свою фамилию. За мою сознательную жизнь мне неоднократно приходилось этим заниматься.

– А имя? – по глазам толстяка было видно, что он ждал чего-то необычного, но я его разочаровал.

- Егор.

– Н-да, – протянул толстяк и, немного замешкавшись с писаниной, тихо сказал: – На медосмотр.

Было видно, что Плогий хотел отпустить колкость в мой адрес, но разговор с ректором его удерживал.

Наконец и мне предстояло увидеть, что происходило за дверью, в которую входили отроки для медосмотра. Это была просторная аудитория, предназначенная для лекций и в несколько рядов заставленная партами. В разных концах расселись четыре доктора в белых халатах. Следовало пройти и отметить у каждого из них. Когда я прошел последнего, тот, не глядя в мою сторону, подтолкнул по столу исписанную медицинскую карточку и, махнув большим пальцем за спину, сказал:

- С карточкой к хирургу.

Я не понял жеста врача и собрался выйти через дверь, в которую вошел, решив, что хирург находится за стеной и пройти к нему все тем же коридором, но доктор остановил меня.

– Дверь там, – и он повторил свой жест, указывая прямо в угол. – Прежде чем войти, постучите.

Только теперь я разглядел в самом углу низкую дверь, точь-в-точь похожую на дверь библиотеки и также врытую в землю. Подойдя к ней, я постучал. За дверью звонким голосом позвали:

- Прошу!

Чтобы войти, мне пришлось изрядно наклониться. Комната оказалась довольно-таки просторной и хорошо освещённой электрическим светом. Напротив двери, за столом, в пол-оборота сидела, сгорбившись, тощая старуха в белом халате и высоком колпаке с

размерной тесёмкой на затылке. Она водила огрызком карандаша, зажатым в её крючковатых пальцах, точно в такой же карточке, какую я держал в руке, – по-видимому, предыдущего отрока. Даже не взглянув на меня, сухо сказала:

– Карточку на стол, трусы на табурет в левом углу, а сам становись справа.

Старуха походила на библиотекаряшу, только вполтину короче и порезвее. Карточку я положил перед нею, но вот все остальное не совсем понял и остался стоять посреди комнаты, ожидая разъяснений и рассматривая временное пристанище докторши. Из лавки сделали медицинскую кушетку, покрыв ее белой простыней. У табурета в углу лежало несколько пар трусов, позабытых отроками. Меня озадачило, в чем же они ушли? Наконец, докторша закончила писать и взялась за мою карточку. Она внимательно прочла фамилию и грозно посмотрела на меня. Наверное, сличала, соответствую я фамилии или нет, а может, и наоборот, фамилия – мне. Затем принялась писать, бросая взгляд в мою сторону и давая короткие команды: «Спиной ко мне». «Боком». «Лицом». Я послушно выполнял, выставляя себя напоказ худосочной докторше. Надо отдать ей должное, она не пользовалась очками. Оставив мою карточку открытой, она подошла к металлическому столику, накрытому белой салфеткой, и натянула на правую кисть резиновую перчатку. Белоснежная перчатка обновила её корявую кисть.

– Трусы на стул и сюда, на кушетку, – тоном, не терпящим возражений, приказала докторша. Видя моё замешательство, равнодушно добавила: – Давайте, давайте, поторопливаемся. На кушетку – головой к двери.

Делать было нечего. И вот я уже стоял на кушетке на четвереньках в чём мать родила. Докторша положила руку мне на поясницу и подала очередную команду:

– Спину опустите, – она усилила слова нажатием рукой, определяя, в каком месте опустить спину. Только я послушно выполнил команду, как хирургесса заширнула палец мне в задний проход. Я едва не задохнулся. Быстро орудуя пальцем, обследовала меня изнутри и, скинув в таз перчатку, как ни в чём не бывало уселась за стол и принялась записывать результаты наблюдений. Мне же коротко приказала:

– Дверь для выхода там. Не забудьте трусы.

Вот почему я не видел никого из тех, кто уже прошел медосмотр. Комната, в которой принимала докторша-хирургесса, имела второй выход. На прощание я улыбнулся куче забытых трусов, представив, как улепетывали из этого кабинета их обладатели. После хирурга отроки проходили в помещение в другом крыле корпуса и ожидали своей участи. Когда я вошёл, на меня уставились несколько пар глаз. Первая мысль, которая меня посетила, рассмешила до коликов, и я тут же её озвучил:

– Вот мы и не девственники.

*Продолжение следует*

## Александр ТРАПЕЗНИКОВ



*Родился 31 декабря 1953 года в Хабаровске в семье военнослужащего. По профессии – учитель русского языка и литературы. Первые публикации состоялись в 1978 году. Работал в издательствах «Просвещение», «Граница», в журнале «Наш современник», преподавал в колледже. В настоящее время – обозреватель «Литературной России». Издано около 50 книг прозы. Автор романов «Царские врата», «Великий магистр», «Тень Луны», «Механический рай», «Похождения проклятых», «Загородный дом» и многих других. В последние годы выступает также как литературный критик и публицист. Лауреат премий «России верные сыны», «Золотое перо Московии» и др. Проживает в Москве.*

## ПИСЬМА С ФРОНТА, ИЛИ ДЕВУШКА-РОЗМЭРИ

## Повесть

**Т**ри года назад, когда ей исполнилось восемнадцать лет, она пришла в ЗАГС и, пользуясь наконец-то всеми правами взрослого человека, сменила в паспорте своё прелестное имя Даша на странное для жителей сибирского городка «Розмэри». Таких тут ещё не было. Родители услышали об этом в тот же вечер, и отец грустно сказал:

– А ведь нам так нравилась «Даша»! И бабушки твои с дедушками любили это имя. Только не вздумай теперь сменить ещё что-нибудь, пол, например, не гонись за модой.

– Могло быть и хуже, – добавила мама, – если бы в своё время ты подарил ей не Скотта Фицджеральда, а, допустим, что-то из цейлонской классики. Была бы сейчас наша дочь какая-нибудь Прабхавати, прости Господи!

«Они ничего не понимают в этой стремительной жизни, безнадежно устарели, – подумала о своих сорокапятилетних родителях Дарья, теперь уже Розмэри. – Покой – вот что самое ужасное и нелепое для человека. Движение – это всё». Но куда и в каком направлении двигаться, она пока что представляла себе не совсем ясно. Знала лишь, что надо менять жизнь, а заодно и весь мир, который затягивает тебя в какую-то гибельную пустоту. Но разве можно это сделать, проживая на пятьдесят восьмом градусе северной широты? Будущее виделось ей вроде захватывающей погони, со сменой транспортных средств и ликующими криками зрителей, а кто за кем и почему гонится – неважно. Главное – успеть, легко неся себя навстречу неизвестности.

Да, ей нравился Фицджеральд и его «Ночь нежна». Но в отличие от той, книжной Розмэри, будучи столь же обворожительной, ещё никого не любила по-настоящему. Она и сама за три недели написала почти такой же роман на четырёхстах двадцати двух страницах, с той же лёгкостью, с которой в детстве любила кататься на роликовых коньках. Она окончила музыкальную школу и хореографическое училище. Два года проучилась в местном университете на филфаке. Немного поработала в городской радиостудии. Едва не вышла замуж за очень хорошего и симпатичного парня. А в двадцать один год, на следующее же утро после своего дня рождения, не сказав никому ни слова, лишь оставив родителям короткую записку, отправилась в Москву.

У неё было с собой три заветных желания, которые она боялась растерять по дороге. Или их украдут вагонные воры, за неимением других ценностей. В саквояже лежали толстая рукопись того самого трёхнедельного романа да ещё две дюжины более поздних рассказов, а в отдельной корзинке дремал трёхцветный сибирский кот – флегматичное усатое чудовище, прекрасно знающее, что любимая хозяйка не расстанется с ним никог-



да и ни при каких обстоятельствах. Ночью, ближе к рассвету, какой-то дурак сорвал в поезде стоп-кран, и Даша-Розмэри вылетела с нижней полки.

– К Москве подъезжаем, а ты как думала! – деловито пояснил старичок-попутчик. – Тут гляди в оба.

– Ничего, она ещё будет лежать у наших ног, – ответила своему испуганному коту рыжеволосая девушка, потирая ушибленный лоб.

Это и было её первым заветным желанием. А что думал по этому поводу кот – такая же тайна, как и всё в мире. Хотя под каким углом зрения смотреть...

## I

Она сошла на перрон, отмахнувшись от осеннего слепящего солнца, как от назойливой мухи. Поправила на непослушных прядях малиновый берет, крепче подхватила саквояж с рукописью и корзинку с котом Рексом, который умел врачевать внезапную тоску и тревогу. На привокзальной площади Розмэри попала в поток людей, её толкнули, предложили купить дешёвый электрический уют, сунули билет беспроигрышной лотереи, спросили, который час.

– Ближе к вечности, – ответила она, отказавшись от всего остального.

Оглядываясь, Розмэри не ожидала увидеть ничего нового, что поразило бы её в сердце, даже не наповал. И сказала сама себе вполголоса:

– Москва ну ни капельки не изменилась... – словно была здесь и пять, и десять, и сто лет назад.

Потом притворно вздохнула и поехала к своей двоюродной тётке, уже давно обосновавшейся в столице. Таксист высадил её на Щёлковском шоссе, возле пятиэтажки на снос. Встреча не была особенно радостной, Москва по-прежнему не верит не только слезам, но и улыбкам провинциальной родни. И всё же племяннице разрешили пожить некоторое время в квартире при условии (тётка указала пальцем на кота), «что это хвостатое безобразие исчезнет».

– Куда же его? – спросила девушка.

– По мне, так лучше всего в кастрюлю, – ответила тётушка, – и чебуречник знакомый найдётся. Но ежели ты так им дорожишь, то можно спровадить в мусорный чулан, я там метлы храню.

Сама тётка работала дворничихой на нескольких участках. В своё время она также приехала в Москву с грандиозными замыслами, но не помогли и полтора высших образования. Хорошо хоть досталась казённая квартира, правда, с соседом, подкашливающим за стенкой. Сейчас она с интересом изучала свою племянницу, вспоминая быстро сметённую, как улицу после листопада, молодость.

– Что-то не так? – тревожно спросила Розмэри, чуть съёжившись под её пристальным взглядом. – А шишка на лбу – это я в поезде с полки шлёпнулась. Чулан так чулан.

Кот лежал на круглых коленках своей хозяйки и вслушивался в разговор, решавший его судьбу. На плите закипал чайник.

– Полка верхняя? – полюбопытствовала тётка. И, не дожидаясь ответа, добавила: – Вот и я так приехала. Только не сразу шлёпнулась, а потом. Тебе ещё предстоит. Тут кругом бездна. Чем думаешь заниматься?

– Люблю стоять на краю бездны и заглядывать вниз, – с вызовом сказала Розмэри. – Это приводит меня в мурашковый трепет. И только в эти мгновения мир вокруг кажется блистательным и совершенным. Всё остальное – серость, ничтожная пустота, даже сама бездна. Я, тётя, хочу написать роман о человеке, который вышел как-то из дома погулять. Его сбила машина, он умер и был так потрясён этим, в сущности, глупым и смешным происшествием, что превратился в бродячую собаку, а его собственная жена приютила её у себя, и он много чего интересного узнал о жизни – гораздо больше, чем когда был человеком. Короче, немного мистики, много любви и хорошая порция психоанализа. Как вам? Впрочем, я этот роман уже написала, – племянница украдкой взглянула на свой саквояж, где хранилась рукопись. – Теперь буду писать следующий.

– Н-да, – глубокомысленно изрекла тётка. – «Мурашковый трепет». Надо же. Только обещаай, пожалуйста, никогда не читать мне его вслух.

Обе они некоторое время молчали, прислушиваясь к тихому урчанию кота, булькающей кипящей воде и покашливанию соседа.

– А кто там? – спросила, наконец, Розмэри, кивнув на стенку.

– Так, генерал один, из бывших, – отозвалась тётушка рассеянно, словно это был действительно «царский генерал», чудом сохранившийся ещё с дореволюционных времён прошлого века. И добавила: – Он скоро умрёт, так что ты не переживай... А знаешь что, детка? С твоей внешностью и данными тебе бы лучше всего пойти на Тверскую.

– Тётя!

– Ладно, шучу. Поступай, как знаешь.

– Я всегда только так и делаю, – твёрдо заявила ясноглазая девушка с котом на коленях. И поскольку тот спрыгнул на пол, явно намереваясь пересесть к тётушке, грозно добавила, сдвинув брови: – Рекс, к ноге! Показывайте ваш чулан. Будем устраиваться. А почему вы чайник не выключите?

– Это не мой, генеральский, – ответила дворничиха с почти двумя высшими образованиями. Москва её также многому научила. Особенно не делать лишних движений. Беречь силы. И повторять по всякому поводу: «Надо же!» Словно магическое заклинание, навевающее сон.

Розмэри энергично встала и выключила конфорку. Затем постучала кулачком в стену.

– Надо же, – сказала тётушка. – А ну как и в самом деле выйдет? Он грозный, у Дмитрия Донского в Куликовской битве участвовал.

– Я тоже, – ответила, улыбаясь, девушка.

Сосед вышел. Не в генеральском мундире, а в зелёном халате с драконами. Васильковые выцветшие глаза посверкивали. Он открыл рот, готовя испустить огонь... и снова закрыл его. Розмэри продолжала улыбаться. На вид ему было лет семьдесят.

– Восемьдесят один, – поправил генерал, будто угадав её мысли. – Позавчера исполнилось. Тридцатого сентября.

– И мне, – произнесла Розмэри. – Ну, в смысле, тоже был день рождения. Только чуть меньше.

– Честь имею представиться – Андрей Петрович Извольский, – чётко отрапортовал сосед и даже ногой в шлёпанце шаркнул.

– Ну, надо же! – озабоченно сказала тётушка, к которой всё-таки, улучив момент, запрыгнул на колени Рекс. А теперь уже не так просто сгонишь.

## 2

Мусорный чулан находился в соседней многоэтажке. Он напоминал склеп, пропахший прошлогодними покойниками, которые временно разбрелись по вышестоящим квартирам. Тут стоял железный бак на колесиках, куда с этажей по жёлобу с чудовищным грохотом летели консервные банки, объедки и всякая прочая дрянь. В углу нашёлся старый, но ещё не отдавший всё своё тепло коврик.

– Прямо трёхзвёздочная гостиница, – сказала Розмэри. – Я просто балдею. Но ничего, ты у меня ещё понежишься на Багамах, обещаю.

Кот всё понял. Он не стал возражать. Он согласился с предложенными условиями. Занял место на коврике. У него был настоящий сибирский характер. А сибиряки когда-то спасли Москву от нацистских полчищ. Возможно, предстоит сделать это ещё раз. Через пару-тройку дней он вполне освоился во дворе и в чулане, даже задал перца нескольким столичным штучкам с хвостами. Пометил территорию. Лишь никак не мог привыкнуть к грохочущему по жёлобу мусору, будто это прямо на него мчался ужасный поезд, готовый раздавить и размазать. Кот вздрагивал, прижимал ушки, а когти вцеплялись в выцветший коврик, и страшно хотелось выпрыгнуть в маленькое слуховое оконце. Но бежать оттого, что из людей что-то там сыплется? Это, в конце концов, просто глупо. Они всегда

что-то бросают и теряют, такая уж уродилась порода, совсем не кошачья... А когда приходила хозяйка, то он жмурился от удовольствия и выгибал спинку под её ласковой и нежной рукой.

– Как странно устроена жизнь, – говорила Розмэри коту. – Тебе почти даром даётся то, чего ты не хочешь брать, думая, что это бесполезно и вредно, но гоняешься затем, в чём нет ни малейшего смысла. А потом и то и другое меняется местами, но уже поздно, поезд ушёл, и ты вновь бредишь свою душу пустыми иллюзиями. Может быть, вам следовало остаться на пятьдесят восьмом градусе северной широты? Там, по крайней мере, тепло от настоящего, а не мнимого холода.

Рекс мурлыкал, как всегда во всём соглашаясь со своей хозяйкой, чья щека была столь бархатной и, должно быть, очень вкусной. Хотелось потрогать её коготками.

– И всё-таки мир прекрасен, – продолжала Розмэри. – Сегодня я была в одной редакции, и мои рассказы вроде бы понравились. Пузатый дядечка в очках сказал, что они выразительны. Правда, при этом не отрывал глаз от моих коленей. Как ты думаешь, что он имел в виду? Рассказы или коленки?

Она действительно уже несколько дней ходила по различным журналам и газетам. Даже имела при себе пару рекомендательных записок от сибирского литературного корифея. Но то ли корифей этот был основательно подзабыт в столице, то ли он никогда им вообще и не был, то ли сама Розмэри вела себя не так, как надо, а может, издания были не те, или редакторы, или сами рассказы. Однако что-то не клеивалось. Единственным человеком, который внимательно прочёл опусы юной покорительницы Москвы, был Андрей Петрович Извольский. Вечерами они пили на кухне чай с гречишным мёдом.

– А мне нравится! – честно признался отставной генерал, возвращая Розмэри роман про человека-собаку. – Прочёл за одну ночь. У меня, знаете ли, бессонница. Так я даже наконец-то уснул под утро. Как бальзам на душу.

Это был довольно сомнительный комплимент, но Розмэри была рада и такому. За окном шелестели жёлто-малиновые листья, прощаясь с бабьим летом. Вечер был на удивление тёплым, словно парное молоко, а в ветвях, казалось, даже стрекотали какие-то цикады, порождённые серебристым лунным светом, похожим на мелкую паутину. Как покрытое такими же морщинками лицо старика напротив.

– Два моих маленьких рассказика были опубликованы в нашей городской газете, – похвасталась Розмэри. – Правда, почему-то в разделе «Курьёзы». Хорошо хоть не в «Телепрограмме». Или в «Прогнозе погоды».

– Ничего страшного, всякий писатель – это и курьёз, и прогноз в одном лице. Потому что он знает, что мы знаем, что ничего не знаем.

– Да?

– Да. Это формула литературы. Но не жизни. Здесь другая логика. Изучая которую, я стал понимать, что не понимаю в людях очень многого, но никак не могу понять, что именно из непонятого мной я всё же понимаю, и я, наверное, никогда не пойму разницы между тем, что я уже понял, и тем, что я не понимаю.

– Так! – в замешательстве произнесла Розмэри. – Вы сможете повторить эту фразу ещё раз?

– Могу, – охотно отозвался он, лукаво прищуриваясь. – Но вы её всё равно не поймёте. В ней есть ряд неправильностей, правильность применения которых создаёт новую неправильность, и для того чтобы осознать правильное использование неправильностей речи, надо говорить очень правильно, а самое смешное то, что в обоих моих высказываниях есть смысл. Как и в том, что нельзя сойти с места, не заступив на него, но если вы сошли, заступая, то вы заступаете и на то место, с которого уже сошли.

– Я сейчас с ума сойду. Хорошо, нас тётушка не слышит.

Вначале Розмэри решила, что генерал заговаривается или ему когда-то на маневрах ядро в голову угодило, но потом поняла, что он просто подтрунивает над ней, а по существу прав. Да она и сама любила городить всякую чепуху, скрывая за ней дельные мысли. И они оба рассмеялись.

– С вами, мон дженераль, не соскучишься, – сказала девушка, жалея, что нет с ними

за одним столом её Рекса. – Когда в прошлом году я лежала в больнице со сломанным голеностопом, мне было также весело. Хохотала до упада, хотя падать после парашютной вышки было больше и незачем. Главврач сказал тогда, что если мне и надо чего чинить, то не ногу, а голову. Там-то я и написала эти рассказы. За двенадцать дней. Потом почему-то стало очень скучно и горько, и я ещё три дня проплакала в подушку... Кот лежал рядом и тоже грустил, – добавила она.

– Кот в больнице?

– Попробовали бы его у меня отнять! – и Розмэри грозно сдвинула брови. – Главврач знал, что в таком случае я прыгну в окно.

– А у меня на фронте была собака... – начал Андрей Петрович, но девушка перебила его:

– На фронте? На какой же это войне?

– На Великой Отечественной, голубушка. Была, знаете ли, такая, если помните.

– Отлично помню, – немного смутилась Розмэри. – Порою мне кажется, что я и сама в ней участвовала. И что война эта продолжается до сих пор. Только как бы в другом измерении. Или мы в ином виртуальном мире с прибабасами, а подлинно – лишь прошлое. Вроде вас.

– Я ещё не стал прошлым, – усмехнулся старик. – Так вот, о собаке. Звали её Матильда, как вашу тётушку.

Но продолжить ему снова не удалось. На кухню заглянула сонная голова в бигудях.

– Спать пора, полуночники! – проворчала тётя. – Чубайс не велел напрасно свет жечь. Как дети малые, ей-богу. Ну, надо же!

– Уже расходимся, – пообещали генерал с Розмэри.

А за окном продолжали стрекотать лунные сверчки-цикады. Как помешанные.

### 3

Розмэри стремительно шла по Новому Арбату, почти не обращая внимания на прохожих и яркие конфетные вывески. Только что у неё состоялся любопытный разговор с сотрудником одного из литературных изданий. В отличие от своего толстого журнала, он был чрезвычайно худ, но бородат с прошлого века, не иначе. Редактор откровенно сказал девушке, что за её смешливыми и затейливыми строчками угадывается некое предгрозовое затишье, готовое полыхнуть молнией, вызвать либо безумную вакханалию, либо мольбу о спасении. А это уже немало.

– Но... мало, – тут же добавил он вне собственной логики.

«А чего же тебе надо ещё?» – хотелось спросить Розмэри, но она скромно промолчала.

– В ваших рассказах начисто отсутствуют время и пространство, – продолжил редактор с пустой трубкой в зубах. Поэтому фраза прозвучала несколько стёрто, как «ва... ра... на... от... вр... пр...»

Но смысл Розмэри уловила. Она была умной девушкой, не только красивой.

– И почему это все ваши персонажи носят какие-то странные имена? Орка, Бенча, Зи-лениус? Таких и кличек-то у собак нет.

– «Что в имени тебе моём? То, что зовём мы розой, – и под другим названьем сохранило б свой сладкий запах!» – ответила она, удачно вспомнив Шекспира и обворожительно улыбаясь.

– О! – произнёс бородатый редактор и вытащил трубку изо рта. Он уставился сначала на её лицо, а потом на идеально округлые коленки.

– «И что им всем покоя не дают мои ноги?»

– Да. О. Мы ещё не то знаем и умеем, – сказала она.

– Браво. Мэри... если не ошибаюсь?

– Розмэри, – поправила девушка.

– Значит, Марироз, – вконец спутался редактор, но тут же овладел собой и своей трубкой.

– И всё-таки, поверьте старому волку, дитя моё. Пишите о своём родном крае, пусть даже он скрыт под толщей воды, как град Китеж, и не выдумывайте страну Оз с орками.

– А с урками можно? – нахально спросила она. – Отец мой.

Редактор усмехнулся. Он только стремился выглядеть солиднее и старше своего возраста, но сам лишь недавно выпустил свою первую книжку. А девушка ему понравилась.

– Слушай сюда, – доверительно оказал он. – У нас при журнале существует клуб молодых литераторов. Я там председатель. Тебе нельзя быть одной. Нужно пока что непременно примкнуть к какой-то стае. Потом уже поежишь своей дорогой. И ещё надо обязательно иметь острые локти, чтобы толкать соседа в бок. Запомни. Рёбра ломать не обязательно, а толкаться и кусаться надо. Сегодня вечером у нас сбор в ЦДЛ, в малом зале. Приходи.

И он сунул ей какой-то билетик.

«Писать о родном крае... Заниматься краеведением, что ли? – думала Розмэри, идя по широкому проспекту. – А если я хочу охватить единым взором Тибет и Альпы, переплыть на крокодиле Нил, задремать в джунглях, а проснуться в Венеции? Хочу всего сразу, но ничего конкретного, что имеет форму и цену, лишь цвет, запах, вкус, туманный абрис... Хочу верить во что-то. В Христа, Будду, Аллаха, мне всё равно, нет времени разбираться, надо спешить». Собственно, это и было её вторым заветным желанием: обрести веру. Неясная и зыбкая цель, но которую она надеялась достичь столь же легко, как своего нового имени в паспорте. Надо лишь поскорее отыскать тот ЗАГС, где ей проставят нужный штамп. Однако в своей неудержимой стремительности она рассеянно проходила мимо храмов, костёлов и мечетей и только потом, через два квартала, вдруг спохватывалась: «Ах, да, ведь я же хотела зайти и разобраться – что там мне могут предложить для души?» – словно речь шла о меню в ресторане, но вскоре успокаивала себя: «Ладно, в другой раз, вера и религия – подождут...»

Розмэри смешалась с несущей её куда-то толпой и с огорчением подумала о том, что теперь среди множества скользких лиц она, должно быть, – даже наверняка! – стала неотделима, и отцепиться от них, молодых и старых, умных и глупых, больных и здоровых, но зеркально похожих и одинаковых в этом огромном муравейнике, едва ли помышляющих о душевном бунте, будет невероятно трудно. Всего неделю она провела в Москве, а уже устала. Не физически, а словно бы все эти дни сидела в пустом кинотеатре и ей беспрерывно крутили фильмы вперемежку с рекламными роликами. Если бы не Рекс да Андрей Петрович, было бы совсем худо. К старику-соседу она привязалась почти так же, как к своему коту. Неожиданно легко и быстро. Но вот поместился бы и тот тоже в её корзинке, если бы она вдруг вновь решила куда-то сбежать, уехать? Это вопрос, над которым следовало задуматься.

С такими мыслями Розмэри и явилась на званный вечер в Центральный Дом литераторов.

#### 4

Бородатый редактор подхватил Розмэри под руку и попросил называть его просто Пашей. Вёл он себя более развязно, потому что был уже слегка поддат, а трубка торчала из кармана пиджака. В зале собралось человек пятнадцать обоего пола, от двадцати до тридцати лет. Был один какой-то совсем седой и ветхий: то ли забрёл сюда случайно, а может, тоже «молодой литератор», кто разберёт? Даже Паша его не мог припомнить. На пытливый вопрос Розмэри он лишь наморщил лоб и отмахнулся.

– Много тут всяких... бродит, – сказал он, усаживаясь вместе с девушкой в заднем ряду. – Я решил, однако, взять над тобой шефство. Чтобы руководить. Как Вергилий в кругах ада.

– Ну, ладушки, – согласилась Розмэри. – А то бы без тебя прямо пропала.

– Сегодня вечер буду вести не я, а мой заместитель. Вон тот, долговязый, с лицом ирокеза. Под Маяковского косит. Трибун. Широко шагает, собака, а ведь сын священ-

ника, можно бы и поскромнее. Но, как говорится, коли ума мало, его и в церкви не купишь.

– А рядом с ним кто – колючая такая?

– Его бывшая жена. Из писательской семейки. Ниспровергатель авторитетов. Скандально пишет, зараза. Тут многие друг на дружке успели пережениться и развестись. Чего и тебе советую. Таким образом крепится и развивается литературный процесс. Кстати, это тема сегодняшнего вечера.

– Узы брака и свальный грех в новом реализме?

– Ну, примерно так. Вообще-то я вот что хочу тебе сказать, Маша-Роза. Ты правильно сделала, что приехала в Москву, – в провинции заметным литератором не станешь. Но и здесь надо выполнить несколько условий, чтобы выдвинуться. Если ты, допустим, либерал, то кляни Россию, как только можешь: страна рабов, мерзость запустения, кругом одни русские подонки и так далее. Неплохо, ежели в тебе окажется ещё и изрядная доля еврейской крови.

– Нету, – вздохнула Розмэри. – А где занять?

– Коли ты примкнул к патриотическому лагерю, – продолжил Павел, – то коси под православного, даже если вместо свечки бенгальский огонь зажигаешь. Как вон тот, бородатый, похожий на Добролюбова, из черноземной губернии. Он этой наукой скоро овладел и быстро полез в дамки. Прощелыга, одним словом. Главное, образ держи, коворотка там, растительность на морде. Но с бородой тебе не повезло, угодив родиться женщиной, поэтому носи платочек. И крестик в декольте.

– Я – вне религии пока что, – сказала Розмэри, словно была «вне игры». И вновь вздохнула. Здесь было душно. Вечер молодых литераторов уже начался, долговязый стал что-то вещать со сцены, а Паша заговорил потише:

– Оставайся тогда и вне политики, но тебе будет сложнее самовыразиться. Кого шпынять-то станешь? В таком случае пиши исключительно матом, через строчку, как одна стерлядь из Екатеринбурга. Про секс, фаллосы, травку, грибы галлюциогенные. Другого ничего не остаётся, но этот товар в цене. Такие у нас тоже есть. Но уж совсем тупые, смотреть тошно.

– А нормальные-то имеются? Ты сам, Паша, кем будешь?

– Я-то?

Он замолчал, глотнул что-то из серебристой фляжки, сунул в рот пустую трубку и зацопел. Больше ничего не сказал, будто ему надоел весь этот разговор. Или не знал, что ответить. Только протянул ту же фляжку Розмэри.

– Не пью и не курю, – отозвалась девушка.

Она стала внимательно слушать выступающих, которые сменялись один за другим, а некоторые особо нетерпеливые выкрикивали свои реплики с мест. Говорили они все красиво и ярко, но больше о себе и своих публикациях, как им всем трудно и какие все кругом сволочи. Попович-ирокез звал на баррикады, потрясая кулаком. Выходец из черноземной губернии тянул в церковь. Колючая брюнетка размазывала всех классиков. Другая литературная шпрота принялась нецензурно браниться. Курчавый гей пролаял анафему «фашистской России». Седой и ветхий, затесавшийся неизвестно как, вдруг начал живо раздеваться, но его ещё быстрее подхватили под руки и вывели из зала. В общем, почти всё так, как говорил Паша, продолжавший флегматично потягивать коньяк из фляжки.

Эти «молодые литераторы», их клуб напомнил Розмэри выставку породистых щенков, на которой она успела побывать накануне в Сокольниках вместе с Андреем Петровичем. Те также много суетились, подвизгивали, пытались проявить самостоятельность и характер, но хозяйева крепко держали их за поводки. И лишь многозначительно улыбались и пересматривались. А лай в манеже стоял почти такой же. Даже веселее.

– Моя Матильда была простой дворнягой, – сказал ей тогда Извольский. Он опирался на палку, которую брал с собой, лишь покидая квартиру. – Мы наступали на Секешфехервар, в Венгрии, а я был молоденьким лейтенантом. Прибилась ко мне этакая бродячая



мадьярская сучка с голодными глазами. Всего-то три дня и прожила в моей роте. Ни на шаг от меня не отходила... вот ведь что странно!

– А дальше? – спросила Розмэри, поскольку Андрей Петрович замолчал.

– Уже на имя стала откликаться, которое тоже я придумал. А может, просто голос мой ей был как кусок хлеба. Шустрая такая, умная, что говорить. Но куда ж её с собой, на Берлин, что ли? Там перелесок был, а нам надо путь срезать. И сапёров ждать некогда. Как быть, проверить, есть ли мины? Когда я палку-то зашвырнул, Матильда ещё посмотрела на меня, словно хотела сказать: «Ну что ты, хозяин мой новый и единственный, делаешь? Там же смерть». Но всё-таки побежала. Никогда этого её взгляда не забуду. Особенно почему-то в последние дни снится... Наверное, к непогоде, дожди скоро, – добавил он, поднимая воротник чёрного суконного пальто. Но солнце, когда они вышли из манежа, светило жарко, не по-октябрьскому.

– Дедушка, купи внучке бусы, – увязалась за ними какая-то пьяная молодая женщина с лицом подростка.

– Не надо, – сказала Розмэри.

– Надо, – возразил Андрей Петрович, доставая кошелёк. – На память. А хотите тест?

Он отсчитал женщине-подростку деньги и спросил у неё:

– Я добавлю ровно столько же, если угадаете с двух раз – кто победил в Великой Отечественной войне?

– Американцы, – ответила она. – Тут и гадать нечего.

– А мы воевали на стороне немцев, – подсказала Розмэри.

– Ну... кажется... Откуда я знаю? – женщина даже обиделась, но деньги схватить успела и быстро скрылась в кустах.

Бусы были из мелкого некачественного янтаря.

– Бесплатно надо было забрать, – жёстко произнесла Розмэри.

А Андрей Петрович лишь усмехнулся. И стал что-то весело насвистывать, что уж совсем не годилось в его почтенном возрасте.

Сейчас эти бусы лежали в сумочке Розмэри. Она не решилась их надеть, поскольку они совершенно не гармонировали ни с её пепельным свитером, ни с зеленоватыми глазами. Да и цена им копеечная. Но янтарь в сумочке излучал какое-то тепло, она это чувствовала. А буйство незрелого ума и плоти в малом зале ЦДЛ продолжалось.

– Паша, – тихо сказала Розмэри, – где находится город Секешфехервар?

– В Индии, – уверенно отозвался он. – Я был там. Прошлым летом. На конференции.

А тебе чего там надо?

– А у меня там родственница объявилась. Матильда. Нужно бы навестить.

– А-а... Тогда до Каракорума – и направо. Проводить не смогу, извини. Пьян.

Фляжка его уже действительно опустела. Трубка застряла в зубах.

– А тебе тут что, уже совсем не нравится? Может, выступишь? От Сибирского региона.

А завтра будет вечер метагдетофизиков, там вообще потеха, сходим?

– Я тебя умоляю, – коротко ответила Розмэри. – У вас тут всё очень запущено. Надо поработать мокрой тряпкой и веником.

– Тогда... поехали-ка к одному художнику, моему приятелю. Он ждёт, – неожиданно предложил Павел, хлопнув себя по лбу. Он стал завинчивать фляжку, но потерял трубку. Нагнулся за трубкой, но выронил фляжку. Чертыхнулся и едва не упал сам.

– Ладно, поехали, – согласилась Розмэри. – Хотя бы доведу тебя до его мастерской.

## 5

Через пару дней тётя радостно заявила, что нашла ей работу.

– Можешь не благодарить, – сказала она, – но потом помянешь меня добрым словом. Каких сил мне это стоило! Как пришлось упрашивать. Знаешь, это очень приличный ресторан, узбекский. Там у меня повар знакомый.

– Не тот ли, который из кошек чебуреки делает?

– А тебе разница есть? Твоё дело надеть национальную узбекскую одежду и разносить по столикам плов.

Тётушка, кажется, была готова обидеться.

– Спасибо, конечно, Матильда Ивановна, но я уже устроилась на службу, – вежливо ответила Розмэри. – И не официанткой, а гейшей. Это рангом повыше будет.

– Надо же! – лишь фыркнула тётка и больше ничего не добавила.

А племянница не солгала. Когда в тот вечер Паша привёз её к своему приятелю, а вернее, она его дотащила до проспекта Мира, где на верхнем этаже одного из высотных зданий располагалась мастерская этого довольно известного художника, ей вначале показалось, что отверзлись врата не то ада, не то рая. Ярко освещенных комнат было много, а народа в них – ещё больше, всюду висели картины, гравюры, рисунки, стояла антикварная мебель, гремела музыка, хрустели под ногами орешки, сновали из угла в угол тени и витали голоса. Чудилось, что люди эти лишь на время сошли с холстов, вышли из рамок, а по мановению хозяина, когда ему надоест, они вновь мигом займут своё место в неподвижных позах на живописных полотнах. Тогда наступит тишина, и он отправится спать. Погасив свет. Но, как выяснилось позже, художник почти никогда не спал, по крайней мере, очень мало, а народ в его мастерской толпился всегда. Что не мешало ему флегматично делать наброски и радушно-снисходительно принимать всех. Хотя и не отдавать никому предпочтение. Он был высок ростом, с аристократическим лицом и белозубой улыбкой. Приветливо кивнув Паше и Розмэри, художник опять занялся своим делом, не расставаясь с карандашом и бумагой. Лишь потом, много позже, она поняла, что люди интересуют его в одной плоскости – хирургической, он снимал с них верхний слой лака, вместе с искусственной кожей и плотью, обнажая скелет, то есть подлинный характер и душу. Потому и слыл очень хорошим портретистом.

Большинству творческих натур необходимо одиночество. Но отдельным представителям этого людоедского племени нужна живая кровь, требуются жертвы, подпитывающие их своей метафизической энергией, просто голосом, взглядом, дыханием. Духом, если говорить точнее. Николай Меркулов был именно из этого числа. Оставь его на необитаемом острове, и он задохнётся, умрёт, станет не «последним героем», а самоубийцей.

Розмэри в этой огромной мастерской, среди множества людей, часть из которых она видела в различных телепрограммах, оказалась предоставлена сама себе. Поскольку Паша почти сразу же отыскал себе укромную койку и завалился спать. Поэтому она даже обрадовалась, когда, устав бродить и рассматривать картины художника, вдруг столкнулась с заявившимися в квартиру молодыми литераторами из клуба во главе с долговязым ирокезом.

– Ура! – закричал тот, прильнув к её щеке мокрыми от вина губами. – А я тебя сразу запомнил. Где Паша? Ну и чёрт с ним! Травку будешь? Завтра ты непременно должна пойти с нами на один митинг. Такое дело затевается! Мне будут внимать сотен пять, а то и больше. А ты с кем тут?

Розмэри поняла, что рано радовалась.

– Со мной, – выручил её сам Меркулов, который уже давно искоса наблюдал за нею и даже делал какие-то наброски в блокнот.

– Ясно, – сказал мальчик-трибун и испарился.

Розмэри смущённо молчала, поскольку художник производил на неё двоякое впечатление: ей было и любопытно, и боязно. С одной стороны, он притягивал её своим завораживающим взглядом, как гипнотизёр, а с другой, она смутно чувствовала опасность, возможно, гибель, как если бы была той собакой из Секешфехервара, которая побежала за брошенной Андреем Петровичем палкой по минной тропе. Не могла не побежать, выполняя волю своего хозяина. Так уж устроены не только собаки, но и большинство женщин. Кто ещё столь покорно и печально примет смерть из руки любимого? А Меркулов даже внешне чем-то напоминал Андрея Петровича Извольского, только моложе лет этак на сорок пять. Чтобы сбросить с себя какое-то наваждение, Розмэри деланно засмеялась и спросила:

– У вас всегда так шумно?

– Бывает и громче. Вы ведь не из Москвы?  
 – Да.  
 – То, что нужно.  
 – Почему?  
 – Хочу сделать вам предложение.  
 – Какое? – Розмэри удивлялась всё больше и больше, разговаривая с ним.  
 – Не пугайтесь, не свадебное. И ничего подобного в этом роде. Просто мне нужна помощница. Толковая, умная и желательна красивая.  
 – Растирать краски? Или позировать в костюме Евы?  
 – Ну, для этого других навалом, – теперь рассмеялся художник. – Кроме того, краски я готовлю сам. Но ваш портрет я, может быть, со временем и напишу.

Он даже на несколько мгновений словно бы отрешился от всего в мастерской, исчез, продолжая, тем не менее, изучать её лицо своим беспощадным хирургическим взглядом. И добавил задумчиво:

– Есть что-то... поколенческое. Новое. Которое только зарождается в России. Ну ладно... Дело в другом. Скоро у меня очередная выставка. Помощница мне нужна не только там, но и здесь, в мастерской. Прежняя удрала с одним олигархом. Вы ведь не сбежите?

– Олигарх такой ещё не попался, – сказала Розмэри. – А что я буду делать?

– Поможете составить каталог. Займётесь кое-какой перепиской. Развлечёте умной беседой гостей, у меня тут порою проходят и важные встречи, не то, что сегодня. А времени на всё мало. Словом, работа не пыльная, даже творческая, и оплачивается хорошо. В Европе это называется – консумация.

– А в Японии – институт гейш.

– Ну вот, видите, сами всё прекрасно понимаете. Я в вас не ошибся.

– А почему вы вообще остановили свой выбор на мне? – спросила Розмэри. – Вы же меня совсем не знаете.

– Знать человека вовсе не обязательно, – отозвался он. – Главное – уметь его видеть.

Ей вновь показалось, что она смотрит не на Меркулова, а на Андрея Петровича, молодого, весёлого, в лейтенантской форме; вот он поднимает с земли сучковатую палку и далеко забрасывает её в лесную чащу. И оба они застыли в ожидании.

– Я согласна, – сказала Розмэри.

## 6

Зарядили дожди, будто безутешная вдова вдруг очнулась от томной спячки и вспомнила о своём горе. Ветер быстро погнал по московским улицам листву и прохожих. У Извольского заболели-заныли суставы, а Розмэри, едва выпадало время, спешила к любимому коту, в мусорный чулан, утром ли, забывая позавтракать, либо поздним вечером, возвращаясь из мастерской Меркулова после ужина с какими-нибудь богатыми коллекционерами с берегов Сены. Пригодилось и то, что она довольно сносно знала английский и французский, поскольку родители её сами были преподавателями иностранных языков. А новая работа, если называть её именно так, а не приятным времяпрепровождением, ей вообще нравилась. Общение с незнакомыми людьми всегда вызывает интерес, кроме того, Розмэри со школьных лет была натурой увлекающейся, по-хорошему нервной и порывистой, жадно впитывающей всё новое, даже в какой-то степени запретное, а порою и вовсе запредельное, к которому пыливый и юный человек будет устремлён неизменно. И, конечно же... конечно, манил и завораживал взгляд художника, его голос. Даже молчание.

– В молчании человек познаётся глубже всего, – сказал ей как-то в дождливый вечер Андрей Петрович. – В многословии он тонет, а безмолвием обретает истину. Когда я наткнулся на это у Амвросия Медиоланского, то понял, почему мне с возрастом всё меньше и меньше хочется говорить. Вот разве что с вами. Позади было слишком много слов, слов, слов... Не скажу, что неправильных или обманных. Но они стёрлись в памяти, стираются,

потому что по существу всегда были пусты, как пшеничные колосья, изъеденные саранчой. Они насыщали ум, но не сердце. Настоящие зерна были зарыты в землю. До поры до времени. Может быть, уже не для меня, а для вас. Ну вот, снова разболтался! – добавил он с лёгкой усмешкой.

Странно, но он говорил почти то же, что и Николай Меркулов: видеть человека и знать – разные вещи, ещё неизвестно, что более постигаемо и откровенно, так же как слова или молчание. Но портреты и живописные картины художника отнюдь не были безмолвны, статичны, они-то как раз кричали, разговаривали, пытались донести до зрителя что-то сокровенное. Можно было беседовать с ними часами, не проронив ни звука. И в минуты такого магнетического, почти потустороннего общения Розмэри особенно остро ощущала всю тщету своих литературных потуг, иллюзорность собственных фраз и образов. Да и иных тоже.

– Нравится? – спросил Меркулов, очутившийся за её спиной. Она стояла перед портретом известного политического деятеля. Реформатора.

– Как может такое «нравиться»? – ответила Розмэри. – После всего, что он сделал со страной.

– Один человек ничего не может сделать с Россией, нужны хорошая боевая слаженная команда и мощная поддержка извне. А ещё – полная апатия и безволие всего населения. Но, кроме того, меня интересует не продукт его личностных качеств, а они сами, их природа и зарождение. В какой-то мере он – такая же «вещь в себе», как табуретка. Но и её надо суметь понять и выразить. Чтобы получилась не просто табуретка, а тот, кто на ней сидел. Оставил след от своих ягодиц, если хотите.

– Нет, не хочу, – сказала она. – Мне гораздо ближе другое изречение Канта. О звездном небе над головой и нравственном законе внутри тебя.

– Ну-ну! – усмехнулся Меркулов. Потом, подумав секунду, добавил: – А впрочем, уберите этого поросёнка обратно в запасник. Выставлять в галерею не станем.

Одна из комнат в мастерской была полностью завалена картинами, время которых уже прошло или ещё не наступило. Либо по какой-то особой причине Николай Меркулов не хотел выставлять их на публику. Иной раз Розмэри казалось, что он и вовсе забыл о них, даже не знал, что там конкретно находится. Поэтому ей самой приходилось разбирать залежи портретов, составлять хронологическую опись. Занятие это было довольно пыльное и не совсем творческое, как обещалось вначале. Но, глядя на заброшенные картины, Розмэри будто бы сама составляла портрет художника – по его прежним работам. Из мозаики чужих лиц – его. Потому что он хотя бы частично проявлялся всюду.

Запасник порою напоминал ей мусорный чулан с котом. Даже коврик почти такой же, старый и выцветший. Только вместо Рекса на нём сидела она, скрестив по-турецки ноги, рассматривая очередной облик или физиономию, а грохочущий поезд летел на неё не по железному жёлобу, а прямо с холста. Меркулов умел потрясать воображение. От некоторых портретов Розмэри просто не могла оторваться. Словно обречённо ожидая смерть под колёсами-жерновами этого неумолимого локомотива.

Возвращаясь в другой чулан, прижимая к лицу пушистого, мягкого кота, она заглядывала в его жёлто-зеленоватые глаза, пытаясь увидеть своё отражение, понять, не изменилась ли она сама за это время, не увлекла ли и её та бездна, о которой предупреждала тётушка? Что с ней происходит? Куда уносится вихрь судьбы? Почему так горько и сладко? Где выход из заточения и не плен ли вся жизнь вокруг? А сверху в железный бак с грохотом продолжал сыпаться человеческий мусор – как напоминание о смысле и бессмыслице бытия. Кант в это время может и отдохнуть.

– ...И что же, обрели вы истину в этом безмолвии? – спросила она на всякий случай тем дождливым вечером у Извольского.

– Часы ещё идут, а значит, есть надежда, – ответил он не совсем внятно и улыбнулся.

## 7

Часы на руке у Меркулова были дорогие, золотой «Ролекс», а вот ещё одна комната в мастерской представляла собой настоящий музей хронометров и будильников. Ценности они особой не имели, просто собирались, должно быть, с детства, старенькие «ракеты» и «полёты», секундомеры и компасы, настенные часы с кукушкой и солидные командирские. Многие из них были сломаны, с остановившимися навсегда стрелками. Показывали уже не время, а вечность. Кроме них в этой комнате хранились коллекции курительных трубок, зажигалок, значков, ключей, утюгов и даже дюжина самоваров. Причуды любого художника, если заглянуть в каждую мастерскую.

– Надо бы всё это вынести на помойку, – заметил как-то Меркулов. – С прошлым нужно расставаться легко.

То ли пошутил, то ли говорил серьёзно. Но Розмэри поверила в его искренность.

– А можно я тогда возьму себе вот этот булыжник? – спросила она, указывая на старые командирские часы-хронометр с потёртым кожаным ремешком и треснутым циферблатом. Ей давно хотелось сделать какой-то подарок Извольскому в ответ на бусы. Именно такой, из прошлого.

– Да они же не ходят! И ремонтировать бесполезно.

Розмэри взяла часы в руки, встряхнула их, подышала на циферблат, покрутила колёсики сбоку. И секундная стрелка неожиданно вздрогнула, словно пробудилась после долгого сна, весело побежала по кругу.

– Чертовщина какая-то... – пробормотал художник. – Ну, если они вас так слушаются, берите.

Но, кажется, ему было их слегка жалко, хотя больше он ничего не сказал и вышел.

Розмэри ещё некоторое время смотрела на циферблат, а слова Меркулова не давали ей покоя: и о «прошлом», с которым нужно «расставаться легко», унося его на помойку, и о «чертовщине». В жизни художников полно всякой мистики. Она вспомнила «Портрет» Гоголя и Дориана Грея. А Леонардо, Ван Гог, Гойя или пугающий своими фантастическими, но достоверными деревьями, будто он бродил меж ними в потустороннем мире, Жиллис ван Конингслоо? Им дано видеть пространство и время не так, как простым людям. Проникать в другое измерение. А отпечаток тайны ложится и на окружающие их предметы, вещи, близких и, конечно же, на сами полотна. У них действительно нет прошлого как такового, оно им и не нужно, лишь вредит и мешает. Только будущее. Вечность с застывшими стрелками.

Часы, которые Розмэри держала в руках, Меркулову были не нужны, но они начали новый отсчёт времени. Она сунула их в сумочку, а в тот же вечер должна была подарить Андрею Петровичу Извольскому. Но... напроць забыла об их существовании, едва переступив порог дома. Поскольку первым существом, которое её встретило, был любимый кот Рекс. Тоже своего рода мистика, но связанная уже с тётушкой.

– Чулан стало заливать водой, и я принесла твоего обормота сюда, – сказала Матильда Ивановна как-то смущённо, словно стыдилась своего поступка (а Розмэри знала, насколько она презирает собак и кошек – природных врагов гомо-дворникус, да и в самом чулане никакой воды не было – девушка только что туда заглядывала).

Что с ней случилось, почему вдруг произошла эта странная метаморфоза «на животном уровне», понять было нелегко.

Но Розмэри очень обрадовалась и коту, и тётушке, и Андрею Петровичу, стоявшему в дверях своей комнаты. Выглядел он сегодня изысканно-нарядно, даже франтовато, хотя и в старомодном костюме с галстуком. А вместо тяжёлой ореховой палки появилась тонкая изящная трость. Видно, купил недавно. Ещё с первой встречи Розмэри порывалась спросить, почему он, генерал, проживает в коммунальной квартире и где вообще его семья, дети? Теперь вот не удержалась.

– Ну, во-первых, генерал бывший, – ответил Андрей Петрович. – Не знаю уж, с какой стати Матильда Ивановна кличет меня так до сих пор.

– По выправке, – вставила тётушка.

– Спасибо. Хотя последняя должность в Академии Фрунзе была действительно высокой, – продолжил он. – Но от больших звёзд, которые мне предлагал Горбачёв, я отказался. Не хотел участвовать вместе с ним в развале страны. Не для того бил фашистов, чтобы они потом тихой сапой вползли в Кремль. Я – русский солдат, а не власовец. В девяносто первом забрал из сейфа свои награды, запер кабинет и ушёл. Может быть, стоило застрелиться, как вы думаете?

Спросил он это с лёгкой грустноватой улыбкой, но ответа не ждал, да его и не могло быть. Но Розмэри чувствовала, что он до сих пор остро переживает те события почти пятнадцатилетней давности, о которых она практически вовсе никогда не задумывалась, принадлежа совершенно иной эпохе. По крайней мере, они были от неё столь же далеки, как Мадагаскар. Две разных страны, два мира. Ещё один тектонический разлом русской истории, с разделёнными берегами. На одном из них остался Андрей Петрович, на другом – Розмэри, а посередине плавают такие, как тётушка.

– Чего ж ордена свои не бросил «меченому» в морду? – спросила Матильда Ивановна.  
– Коли уж такой принципиальный.

– Не от него получал, – коротко ответил Извольский. – Что же касается семьи, то жена давно умерла, а дети живут своей жизнью. Но это уже совсем другая история. Неинтересная.

И вновь Розмэри почувствовала тут какую-то глубоко скрытую душевную боль, но генерал – так мысленно она продолжала его называть – видимо, вообще не хотел говорить на эту тему.

– И политика меня больше не занимает, – заключил он, как отрезал. – Один в поле не воин. Всё, что сегодня происходит, – уже не моё дело. А ваше. Надеюсь, что справитесь...

«С чем?» – Розмэри не стала спрашивать, не успела: кот призывно мяукал, тёрся то о её ногу, то о тётушкину, то о генеральскую, звал к ужину, требовал сырой мойвы.

## 8

Осень на Руси – пора свадеб, сбор урожая, подготовка к зиме. В этом контексте Розмэри последовало аж сразу два предложения в течение одних суток. Третье не состоялось. И все они выглядели весьма анекдотично. Начать с того, что устройством личной жизни племянницы вдруг с излишним рвением стала заниматься тётушка Матильда, непонятно какой урожай намереваясь с этого собрать. А возможно, вполне искренно желая навечно пристроить Розмэри в столице.

– Я бы тебя и к себе прописала, дом-то всё равно пойдёт под снос, а мы с генералом скоро разъедемся по новым окраинам, но делать этого не буду, – говорила она племяннице. – Хотя родители твои согласны прислать денег. Но, во-первых, мало для прописки, а во-вторых, я сама ещё молода и в старых девах засиживаться не собираюсь. Скажу тебе по секрету: у меня когда-то был даже план женить на себе генерала. А что?

– Тётя! – изумлённо произнесла Розмэри. – Между вами разница в сорок лет.

– Это мелочи. Даже хорошо, что столько. Недолго мучиться. Но потом я поняла, что мы всё равно не пара. Да и неизвестно, сколько он проживёт, может, ещё двадцать. Такой крепкий дуб, если разобраться. Ничто его не берёт – ни экология, ни смена политического строя, ни сквозняк на кухне. Из какого только чернозёма таких делали? А вот тебе следует задуматься. Впрочем, с твоей внешностью ты легко выскочишь. Не тяни только. А у меня для тебя на примете есть один...

– Повар из узбекского ресторана? – перебила её Розмэри.

– Надо же. Запомнила. Нет, но тоже с кулинарией связан. Полуфабрикатами торгует. Своя фирма. Косой только. Но ведь с лица воду не пить.

– Сильно косит?

– Прилично.

– А энуреза нет?

– Ты, девочка, не выпендривайся, я дело говорю. Потом благодарить станешь.



– Хорошо, тётя, я подумаю, – сказала Розмэри, чтобы не обижать Матильду Ивановну.

А днём в редакции толстого журнала ей сделал предложение Паша. Мимоходом. Возвращая очередной рассказ.

– Кончай заниматься писаниной, это дело не для тебя, – сообщил он. – А выходи-ка ты лучше за меня замуж, я пока временно опять холостой. Ты красивая, небесталанная, мне подходишь. Я об этом ещё вчера подумал. Квартира у меня есть, правда, денег мало – всё на прежнюю жену ухлопал. Я не жадный, чтобы ты знала. Сегодня они есть, завтра нет, потом опять завелись. Нужно относиться спокойно, философски. И помнить: у гроба карманов нет. А я тебя в большую литературу введу, вместе будем романы стряпать. Любовные, приключенческие, какие хочешь. Главное, на мой взгляд, в тебе есть то, что притягивает удачу, счастье. Но ты этого пока сама не понимаешь.

– Паша, ты слишком много пьёшь, – сказала Розмэри.

– Ну и что? – фыркнул он. – И не больше, чем остальные. Могу и закодироваться, коли на то пошло.

– Не надо таких жертв, тогда совсем станешь неинтересным: без трубки, бороды и своей знаменитой фляжки.

Павел побарабанил по столу пальцами, глядя в окно на последний, ещё не улетевший с ветки лист. Стекло было пыльным, как, наверное, вся жизнь в редакции.

– Я надеялся, что ты скажешь – да, – произнёс он. Слегка грустновато для такого записного оптимиста.

– Я подумаю, – вновь промолвила Розмэри, чтобы не обижать и его тоже. Всё-таки он был неплохим парнем. Но представить его в роли любимого человека (а иначе, зачем выходить замуж?) она не могла.

Паша всё понял. Он проворчал:

– Только не считай, что у тебя может что-то получиться с Меркуловым. Не тот он, кто способен ответить на любовь.

Стрела почти угодила в цель. Щёки Розмэри слегка зарделись, но взгляд свой она не отвела. Лишь зрачки потемнели, словно она разгневалась. Или растерялась от обнажившейся вдруг истины. Павел, не зная того, угадал её третье заветное желание. Оно заключалось именно в любви, которую Розмэри мечтала встретить в столице...

Мечтала и не хотела себе в том признаваться, противилась разумом, как от лишнего груза в рюкзаке за спиной, но тянулась душой и сердцем; она ещё не решила, не знала, нужна ли ей в той лодке, в которой она пустилась по волнам в опасное плавание, эта любовь (да и вера тоже!), не утянет ли на дно в шторм, не разобьёт ли в щепы о прибрежные скалы? Ничего, в сущности, она не ведала и о самом «море», только читала о нём в книжках да опиралась на двадцать один год своей жизни. Не такое уж крепкое подспорье.

А Николай Меркулов... Что ж, Меркулов! Да, Меркулов. О нём она не хотела, боялась думать. И в то же время постоянно общалась с ним, мысленно, в шумной ли компании или наедине с собой, а порою просто во сне. И просыпалась вместе со своим урчащим в ногах котом удивительно счастливой, радостной, готовой объять весь мир.

## 9

Вечером Розмэри была в мастерской и получила там второе свадебное предложение. Один из гостей, брюнет, которого она видела всего третий раз в жизни и уже успела забыть имя, неожиданно очутился возле неё и сказал, отчаянно пытаясь казаться трезвым:

– Вопрос решён. Вы мне ужасно нравитесь. Более того. Не обижайтесь, но я почти влюблён в вас.

– Пустяки, – скромно потупилась Розмэри, едва не рассмеявшись. Начало было обнадеживающим. «Как же его всё-таки зовут?»

– Нет, нет, вы не понимаете, – продолжил брюнет, раскачиваясь на пятках. – Меня

бросила жена. Вернее, я её бросил. Это неважно. А у меня два билета в Ниццу. Там я арендую замок. Полетели?

– Вот так сразу?

– Можно и по частям. Фрагментами. Но лучше целиком. Я ведь за вами давно наблюдаю и восхищён. Рейс чартерный. С таможей я всё улажу. Соглашайтесь. Осталось четыре с половиной часа.

Он подбирал слова, будто строил домик из игрушечных кубиков. Те валились из рук, а брюнет снова поднимал их и недоуменно рассматривал. Был он очень сосредоточенным и забавным.

– Миша, не приставай к девушке, – сказал Меркулов, проходя мимо.

– Иди к чёрту! – огрызнулся ему вслед брюнет. – Короче, я хочу немедленно создать новую семью. Выйти за вас замуж. То есть наоборот.

Розмэри задумалась и вновь, уже во второй раз за сегодняшний день, слегка покраснела. Она была несколько обескуражена этим напором. И видела, как на них насмешливо издали смотрит художник, словно готовится написать не портрет, а карикатуру. Но всё это и походило на какой-то фарс, впрочем, не лишённый изящного сумасбродства. А может быть, так и надо бросаться в омут? Назло себе и другим. Она впервые в жизни закурила протянутую брюнетом сигарету.

– Видите ли, у меня в родном городе остался жених, – сказала, откашлявшись, Розмэри. – И было бы несправедливо его столь легко забыть. По крайней мере, с моей стороны это непростительная роскошь при нынешнем дефиците на хороших людей.

Всё это было чистой правдой, как ни странно: и жених в сибирском городке, и то, что она о нём уже напрочь забыла, едва месяц назад шагнула с поезда на столичный перрон. И даже то, что он был действительно славным парнем.

– К дьяволу вашего жениха! – вскричал Миша, продолжая раскачиваться на пятках.

Гости Меркулова стали собираться возле них. А сам художник, напротив, словно бы потерял к ним всяческий интерес.

– К дьяволу меня самого и вас в том числе, если вы не выйдете за меня замуж где-нибудь по дороге в аэропорт! Решайтесь. Осталось четыре часа с четвертью. Вот вам мой свадебный подарок.

Он взял её руку и надел на палец кольцо со сверкающим бриллиантом. Гости зааплодировали, как после удачно исполненной арии, Розмэри почувствовала себя совершенно подавленной.

– Мне надо посоветоваться со своей тётушкой, – только и смогла вымолвить она.

– Едем к ней немедленно! – решительно произнёс брюнет, увлекая Розмэри за собой.

А ей сейчас как раз необходимо было исчезнуть, чтобы не видеть больше насмешливых глаз Меркулова.

Джип с молчаливым шофёром мчал их к Щёлковскому шоссе.

– Мы будем жить в любви и покое, – говорил ей по пути брюнет.

Но она ещё на выезде через Преображенскую площадь знала, что ему ответить дома. Теперь же лишь рассеянно обронила свою коронную фразу.

– Покой – вот что самое ужасное и нелепое для человека, если он, конечно, не вполне мёртв.

– Тогда будем непрерывно двигаться и переезжать с места на место, – заявил он.

В квартире Михаил с хода взял в оборот и тётушку, и Андрея Петровича, не дав даже Розмэри произнести ни слова. Генерала Извольского он принял за её деда. Тот смущённо молчал, покашливал, а потом и вовсе скрылся в своей комнате. Матильду же Ивановну убеждать не было никакой нужды.

– С твоими родителями я сама всё улажу, – сказала она. – Вот сейчас же прямо и позвоню, пока вы будете добираться до аэропорта.

И действительно пошла в коридор, к телефону. Ради такого события можно было разбудить спящую Сибирь. Они остались наедине друг с другом.

– Ну, присядем на дорожку, – произнёс брюнет.

– Нет, Миша, – твёрдо ответила Розмэри. – Никуда я с вами не поеду. И не полечу, вы уж не обижайтесь.

– Но почему же?!

– Потому что не могу. Потому что люблю другого.

Брюнет растерянно опустился на стул, а тётушка прокричала из коридора:

– У вас осталось два часа и сорок девять минут! Никак не могу дозвониться.

– Не надо, тётя! – отозвалась Розмэри.

– Не надо, Матильда Ивановна, – подтвердил и Андрей Петрович, выходя из своей комнаты. – Она не едет в Ниццу.

Брюнет встал и молча направился к двери. Шатало его то ли от выпитого вина, то ли от разбитого сердца. Он даже не стал прощаться, лишь махнул, не оборачиваясь, рукой.

– Что же это такое происходит? – огорчённо спросила тётушка, глядя то на Розмэри, то на Извольского. – Как же это, а?

А они оба только заговорщицки улыбнулись, словно знали больше, чем Матильда Ивановна.

– Ну, надо же! – сказала она, кладя телефонную трубку на место. – Какие же вы все, однако... Ничего с вами не поймёшь! Ну, может быть, я тогда хотя бы приглашу завтра этого косоного полуфабриката? Жених завидный, не сомневайся.

– Я ни на кого не променяю своего Рекса, – ответила Розмэри, прижимая к себе тёплого и пушистого кота.

## 10

На следующий день она возвратила кольцо со сверкающим камушком Меркулову.

– Передайте это своему другу, когда он вновь вернётся из Ниццы, – сказала Розмэри.

– Значит, не вышли замуж за Михаила? – спросил художник то ли с удовлетворением, то ли разочарованно. Никогда не поймёшь, что он думает на самом деле.

– А я бы даже и за вас не вышла, – с вызовом ответила она.

Розмэри знала, что его семейное положение неопределённо – жена есть, но где-то в Лондоне, и они находятся практически в стадии развода. Но не это было для неё главным. А Меркулов, со своей исключительной проницательностью, догадался, что она имеет в виду.

– Даже если бы я вас об этом попросил? – произнёс он. Лицо его оставалось спокойным и холодным, а в глазах горели насмешливые искорки.

– Даже если бы даже, – отозвалась Розмэри.

Они помолчали, обдумывая то, что не было сказано.

– Давайте работать, – промолвил, наконец, Меркулов. – Через шесть дней у нас выставка.

«У нас! – радостно пронеслось в голове девушки. – У нас. Значит, я совсем не лишняя здесь. А даже какая-то частица его жизни...»

Меркулов перенёс всё своё внимание на явившегося хозяина галереи, молодого и рано состарившегося еврея, а «частица» эта ушла в запасник разбирать старые холсты. Там она и обнаружила вдруг портрет генерала Извольского. Не узнать было нельзя. Хотя это была едва ли не одна из первых «классических» работ художника, а, судя по дате – 1988 год, сам он тогда ещё учился в Суриковском. Других надписей на обратной стороне холста не было. Только известная ныне во многих галереях мира роспись – «Н.Мерк» с барашковым завитком. Андрей Петрович был изображён сидящим в тенистой беседке, в простой хлопковой рубашке, со сцепленными на колене руками, а взгляд слегка прищуренных глаз устремлен прямо на художника и в то же время – сквозь него, мимо, дальше, туда, где ему видится гораздо большее, чем окружающее его пространство. Устремлён за горизонт, в иное время. Так, по крайней мере, казалось Розмэри.

В манере письма, избранной позы, нервно пластических пальцев, тайне характера чувствовался поздний Перов конца 60-х годов девятнадцатого века, этот «Гоголь и До-

стоевский русской живописи». Но сам Меркулов никогда и не скрывал того, что в молодые годы увлекался и подражал многим живописцам и портретистам, в том числе и Перову, Репину, не говоря уж о Кипренском и Варнеке, но, в отличие от последнего, довольно быстро обрёл свой собственный стиль, преодолел ученический период и достиг сферы чувств, области души, граней личности.

А что можно было сказать об этом портрете, который сейчас пристально, с особым критически-ревнивым настроением изучала Розмэри? Он был очень хорош, тонок, написан исключительно бережно, но не скупно, словно между Меркуловым и Извольским существовала незримая духовная связь, общность сердечной радости и печали. Странно, почему он никогда не выставлял этот портрет в галереях, почему его нет ни в одном каталоге? Только ли потому, что он всё же в какой-то степени ученический, периода его раннего становления, или дело совершенно в ином? Тут наверняка некая тайна.

Пока она решала для себя эту загадку, шестидесятичетырёхлетний Извольский прищуренно глядел на неё с холста, будто желая подсказать ей ответ. Почему у него такой проникновенный взгляд, она понимала. Он уже тогда, в то перестроечное время знал, что произойдёт в будущем. Что случится со страной, которую он защищал на войне. Потому как бы и прощается со всеми. Непонятно другое. Что могло свести вместе молодого студента Суриковского училища и заслуженного генерала, заведующего кафедрой Академии имени Фрунзе? Если это был «заказной портрет», то почему Андрей Петрович обратился к совсем ещё юному дарованию, а дарование это не изобразило Извольского в мундире со всеми регалиями и орденами, как положено, что было бы разумней и выгодней со всех точек зрения?

Когда хозяин галереи ушёл, пытаясь напоследок пофлиртовать с Розмэри, она и задавала все эти вопросы Меркулову. Тот вроде бы несколько смутился и однозначно ответил:

– О, это... давняя история.

Потом, помолчав немного, спросил сам:

– А вы-то, откуда знаете Андрея Петровича Извольского?

Розмэри решила также подпустить тумана, как он.

– Знаю, и всё, – сказала она.

Больше они на эту тему не разговаривали. Лишь поздним вечером, когда Розмэри уже уходила из мастерской, она вдруг вновь, невольно для себя, спросила:

– Этот портрет... который я нашла в запаснике, генерала Извольского, почему бы вам его не выставить в галерее? Он очень хорош.

Меркулов переменился в лице. Возможно, «он» тоже не давал ему покоя всё это время.

– Что вы себе позволяете? – резко произнёс он. – Кем вы себя вообще вообразили? Вы, девчонка... Считаете, что мне можно указывать – что хорошо, что плохо, кого надо выставлять, кого не надо? А что вы можете понимать в этой жизни?

Таким она его ещё никогда не видала. И ни разу он не разговаривал с ней столь грубым тоном. Розмэри почувствовала, что случайно забежала на минное поле. Ещё не взорвалась, но близка к этому. Губы её задрожали. Она готова была даже заплакать от неожиданности, чего за ней давно не водилось.

Но и Меркулов понял, что перехватил через край. Он подошёл к ней и гораздо спокойнее и тише произнёс:

– Извините. Со мной всегда так перед выставками. Вроде бы уже давно должен привыкнуть, а хожу сам не свой, дёргаюсь, кричу без толку. Нервы. Ещё раз простите.

Он протянул руку и добавил:

– Ну, мир? Улыбнитесь.

– Мир, – ответила она, пожимая его твёрдую ладонь. И улыбнулась. Он тоже, даже позволил себе коснуться губами её щеки.

– И вот ещё что. Давайте перейдём на «ты», если не возражаете?

– Не возражаю, – сказала она, пытаясь сама совладать со своими нервами. Голова как-то нехорошо кружилась.

– Розмэри... Странное у тебя имя.

Меркулов всё ещё не отпускал её руку.

– Очень странное для России. Откуда, если не секрет?

– Из телефонного справочника, – отозвалась она и выскользнула за дверь. А сердце в груди колотилось так сильно, словно хотело вырваться и улететь.

## 11

Розмэри была даже рада, что Андрей Петрович ещё не спит, коротая время за пузатым заварным чайником и с котом на коленях, будто нарочно поджидая её. Впрочем, так оно, конечно же, на самом деле и было. Генерал заулыбался, Рекс заурчал.

– Прежде всего хочу подарить вам «в отместку» вот этот командирский хронометр, – сказала Розмэри, доставая из сумочки меркуловские часы. – Они идут, видите? Циферблат только слегка треснул. Но это не страшно.

– Нет, не страшно, – согласился Извольский, разглядывая подарок. Какая-то тень промелькнула по его лицу. – Тем более, что я, кажется, знаю, кто их разбил. Лет этак тридцать назад. Ведь это мои часы. Подаренные мне маршалом Малиновским.

– Ваши? – не смогла сдержать удивления Розмэри.

– Мои, деточка, мои. Мне ли их не признать? И ремешок тот же.

– Но... как они... кто их...

– Разбил? Один шестилетний мальчик, которому очень хотелось заглянуть внутрь, повертеть стрелки. Молоток для этого – самый удобный инструмент. Скоростной, по крайней мере.

– А этот мальчик... – Розмэри уже начинала догадываться. – Мой внук, – ответил Андрей Петрович. – Пришлось оставить ему эти часы на растерзание. Странно, что теперь они очутились у вас. И даже пошли.

– Скажите, – произнесла она, всё ещё не веря своим мыслям. – Году в восемьдесят восьмом ваш портрет писал один молодой художник. Мы случайно не одного и того же человека имеем в виду? Всего час назад мы с ним расстались. Много в жизни самых удивительных совпадений, но...

– Очень много, – вновь согласился Андрей Петрович, ласково глядя на неё. – Если речь идёт о Николае, то да, это мой внук. Правда, теперь он работает не молотком, а кистью.

– И это у него получается намного лучше, – промолвила Розмэри, облегчённо вздохнув: всё становилось на свои места. Вот откуда эта схожесть глаз, лиц, голоса, даже характеров. И странное волнующее притяжение. Можно было бы догадаться раньше. Она даже вспомнила, что читала в каком-то старом каталоге биографию Меркулова, где упоминалось, что мать его – из рода Извольских; только тогда не обратила на это внимания.

– За часы – спасибо, – сказал Андрей Петрович, взясь с ремешком, пытаюсь застегнуть его на запястье.

Розмэри помогла ему. Рука у генерала была сухая, тонкая, как ветка, которая того и гляди переломится. А может быть, напротив, ещё гнуть и гнуть, словно ивовый прут зимой. Сейчас она особенно остро ощущала родство этих двух вторгшихся в её жизнь с разных сторон людей. Или даже это был один человек, только раздвоившийся: ушедший вперёд и оставшийся на месте. Кто ушёл, а кто остался? Где генерал и где его внук-художник? «Почти мистическая история, – подумала Розмэри. – Да и время подходящее: полночь».

– Расскажите мне... о себе, – попросила девушка. – И о внуке. Кто он и что. Мне это очень важно. Я хочу знать. И почему вы не общаетесь? И что вообще происходит? Я ничего-ничего не понимаю.

Андрей Петрович задумался. Он отпил чай из своей чашки и погладил кота. Он закрыл глаза, словно вспоминая что-то. Розмэри терпеливо ждала. Из крана капала вода, но это не раздражало её – момент был слишком торжественный. Хотя и чересчур затягивался. Когда она решила, что генерал уснул, тот вдруг произнёс:

– Хорошо. Но тогда и вы расскажите мне о своей жизни. Интересно, чем дышит нынешняя молодёжь. Что она из себя представляет. Попробуем быть откровенны друг с другом. Попробуем друг друга не разочаровать. Заключим сделку.

– Ох, – сказала Розмэри. – Моя жизнь уместится в футляре из-под серёжек. Она ещё столь коротка, что её можно, как говаривала моя подружка Шахерезада, записать золотыми иголками в уголках глаз. А на вашу не хватит тысячи и одной ночи.

– Начинайте, – требовательно отозвался генерал. – Спешить мне некуда. И вы чуточку притормозите, оглянитесь, передохните. Зачем вы приехали в Москву, с каким заветным желанием?

Широко раскрыв глаза, Розмэри смотрела на Андрея Петровича. Она чувствовала себя легко и спокойно, будто её несла морская волна.

– С тремя, – поправила она честно. – С тремя желаниями.

...Они проговорили до самого утра. До той поры, когда на кухню заглянула Матильда Ивановна и, всплеснув руками, озадаченно произнесла:

– Нет, ну надо же!

## 12

Линия разлома между генералом и его внуком прошла в 1992 году, когда Андрей Петрович уже не был на высокой должности в Академии Фрунзе, а Николай Меркулов ещё не стал модным художником. И дело тут было даже не в их взглядах, хотя они часто спорили и ссорились, понимая происходящее вокруг каждый по-своему. Один видел крушение охваченного пламенем корабля, другой считал, что будет построен новый океанский лайнер для свободного плавания. Оба имели веские аргументы, доказывая свою правоту, сходились же лишь в том, что история всё расставит по своим местам лет этак через двадцать-тридцать. Каждому из нынешних деятелей воздаст по заслугам.

«Правда, к этому времени, возможно, не будет уже и самой России», – неизменно добавлял Извольский.

Сходились они в традиционном русском чаепитии в тенистой, увитой плющом беседке – на даче близ Софрино, где ещё студентом Николай написал портрет деда. Андрей Петрович был уже давно вдовцом, копал понемногу грядки, подумывал о мемуарах. В большой московской квартире на Кутузовском проспекте жила дочь, сын обитал на дипломатической службе в Бельгии. За них он не волновался. Они были устроены в жизни, быстро приняли её новые правила игры. Да что говорить об этом поколении, если даже его многие сослуживцы-фронтовики вдруг, точно обезумев или надыхавшись угарного газа, строем свернули за лукавыми кремлёвскими правителями, пошли по минному полю. Но оставался ещё его любимый внук...

У Андрея Петровича на даче хранилась целая коробка писем. Те, которые он писал с фронта своей невесте, потом жене, по-настоящему единственной женщине в его судьбе. Она умерла в начале восьмидесятых. Писем было штук сто, не меньше. Бумага пожелтела, чернила выцвели, свой собственный почерк Извольский мог разобрать с трудом. Но он и так знал каждое письмо наизусть, стоило лишь начать читать, освежить в памяти первую фразу, событие, географическое место. Порою это оставалось его любимым занятием, особенно после выхода на пенсию. Он будто возвращался в свою молодость, а иногда вдруг стыдливо обнаруживал на своих щеках слёзы, и тогда торопливо убирал письма назад в коробку, задвигал её под кровать. Шёл в беседку и сидел там до глубоких сумерек, пытаясь обрести покой в волнении сердца.

Всё время хотел, чтобы внук когда-нибудь прочитал эти послания с войны, из другой эпохи, почти из иного мира, уже несуществующего; хотя бы подержал в руках, пробежал глазами, дрогнул душой. Приобщить к ним сына и дочь не удалось, они оставались снисходительно-равнодушными. А для Николая как-то не наступало время. Учёба в Суриковском поглощала его целиком. Однажды Андрей Петрович показал ему коробку с фронтовыми весточками, робко надеясь привлечь его внимание, но попытка не удалась.

«Потом, потом, – отвечал внук. – Сейчас некогда. Спешу». А когда наступит это «по-



том»? Когда и без того тонкие нити, связывающие с прошлым, окончательно оборвутся? Когда уйдёт последний солдат России и останутся не защитники её, не воины, а марки-танты да пассажиры? Уж им-то тем более не нужна никакая память. Они постараются вытравить её дотла. Горечь мыслей скрашивал лишь душистый запах сирени в саду, где вечерами привычно звучала весёлая соловьиная трель.

Казалось, доживай здесь свои оставшиеся дни, с этими письмами и воспоминаниями, замкнув уста, радуясь стремительным успехам внука, а то и отправляйся с лекциями в Германию, где некоторые его фронтовые друзья уже отработывали немецкую похлёбку, превратившись из победителей в побеждённых. Но Андрей Петрович не мог тихо угасать или менять веру. Физически он был ещё очень крепок, а уж духом – и подавно. Он нашёл себе занятие в одной из московских школ. Вёл там военно-патриотический кружок, ходил с ребятами в походы по местам сражений, искали безымянные захоронения.

Удар, словно предательский выстрел, был нанесён в спину. Как-то раз Андрей Петрович вернулся на дачу и застал там студенческую вечеринку, состоящую из юных дарований и глинтвейна. Жарко полыхал камин. В языках пламени было что-то насмешливо-игривое. С нехорошим предчувствием генерал заглянул в коробку из-под кровати. Она оказалась пуста. Кто разжёт фронтовыми письмами огонь в камине – сейчас было уже и не важно. Может быть, и не внук, как он уверял позже. Возможно, кто-то другой, принявший мелко исписанные листки бумаги за мусор. Какая теперь разница? Сгорала душа. Почти сгорала...

Извольский на даче больше не появлялся. Он переписал её на внука, затем затеял квартирный размен с дочерью и, в конце концов, покорно очутился здесь, в хрущобе-коммуналке, отчего нисколько не был огорчён. Теряем больше. Да и много ли теперь надо?

– Мне – много, – ответила на этот его повисший в воздухе вопрос Розмэри уже под утро, но ещё до появления Матильды Ивановны.

– Вы молоды, так и должно быть, – кивнул Андрей Петрович. – Но больше России в мире во всех смыслах ничего нет, так и знайте.

– В это я верю. Я не верю, когда об этом говорят. Когда вообще рассуждают о сокровенном. Например, о любви. О Боге. Которого я ищу, но не могу найти.

– Но любовь, кажется, вы уже обрели? – улыбнулся генерал. – Одно из ваших заветных желаний исполнилось?

– Не знаю, – смутилась Розмэри. Ей вдруг захотелось заплакать от какого-то огорчения и именно на плече у этого старого мудрого человека. Она чувствовала себя здесь, в Москве, очень одинокой, будто песчинкой на ветру.

– Нельзя выбирать любовь или веру, словно ты прицеливаешься в мишень, – сказал Андрей Петрович. – Ты непременно промахнёшься, если так думаешь. Они сами стоят у твоих дверей и ждут. Главное, услышать их стук за шумом в своей душе.

– А Николай? Вы так и не простили его? – спросила Розмэри.

Извольский не успел ответить, а может быть, не захотел. Как раз в этот момент и пришла тётушка.

### 13

Два дня Розмэри не появлялась в мастерской Меркулова. Она бродила по улицам Москвы, выбирая самые тихие и старинные уголки, всматривалась в изъеденные временем фасады домов, в лица случайных прохожих, в витрины магазинов, вслушивалась в шёпот тех эпох, которые менялись одна за другой в столице, оставляя после себя лишь размытые очертания и тени. Впервые она никуда не спешила. Ей нравилось просто медленно идти, смотреть по сторонам, улыбнуться бегущей по своим делам собаке, есть мороженое и ловить ладонью капли дождя. А дождь вскоре превратился в снег, заблестев на её ресницах.

Когда-то совсем маленькой девочкой она заблудилась в своём родном городе, крохот-

ном по сравнению с Москвой. Но весь мир был сосредоточен именно здесь, на пятьдесят восьмом градусе северной широты, другого просто не могло быть. И она несколько не боялась, зная, что всё равно выйдет к дому, мимо которого нельзя пройти. Словно это центр Земли. Возможно, лишь придётся немного поплутать, но это не страшно. Даже интересно, если ещё и шлёпать по лужам в отсутствии родителей. Тогда тоже моросил дождь-снег. Почему-то она была очень счастлива в эти минуты. Потеряться, а потом найтись – что может быть лучше? А в это же время, вероятно, студент Суриковского уже рисовал портрет деда. И один из них, быть может, прозревая будущее, видел маленькую девочку из сибирского городка. А родители Даши испуганно искали её повсюду. И, в конце концов, ангел-хранитель вывел её к ним.

«Нельзя потеряться, если ты очень веришь в свой Дом и любишь его, – думала сейчас Розмэри, перешагивая через покрытые хрупкой корочкой льда лужи. – А Дом – это и Андрей Петрович, и Николай, и тётушка, и жители моего города, и население Москвы, и даже кот Рекс. У каждого из них своя правда, но Дом, разделившийся в самом себе, не устоит, как сказано в одной умной книге».

Она уже примерно знала, что должна сделать.

В конце войны Андрею Извольскому был двадцать один год. Столько же, сколько ей сейчас. И приблизительно в этом возрасте Николай растопил письмами сырой камин. Но, может быть, это сделал и не он, а кто-то из его пьяных богемных товарищей. Розмэри очень хотелось так думать. Она была даже уверена, что Меркулов не мог совершить подобное, в каком бы затмении он ни находился. Но Андрею Петровичу было от этого ничуть не легче, вся вина легла на его внука. Наверное, после крушения на его глазах страны это стало последней каплей. И он просто ушёл, хлопнув дверь.

Но уйти в безмолвие она не позволит. Не даст выстудить в Доме разбитыми окнами. Если это не в силах теперь сделать мужчины, то возьмётся женщина. Её война только начинается, ей тоже двадцать один. Огорчительно много, если вспомнить то, что рассказывал ей Андрей Петрович о своих письмах с фронта. Он ведь почти цитировал их наизусть. Они были полны какого-то молодого здорового веселья, отваги, искренности и победительной силы. Розмэри, когда слушала ночью Извольского, явственно представляла его – высокого и красивого лейтенанта, шагающего по Европе, с улыбкой и автоматом освобождающего поляков, чехов, болгар. Где теперь эти братья-славяне?

Да и Николай в этом возрасте уже практически сложился как талантливый художник. Оба они – плоть русской земли, пропитаны её духом. Им изначально суждено побеждать зло. Их можно лишь временно обмануть или разлучить друг с другом, но одолеть нельзя. И как мелки все эти бесы, вьющиеся вокруг них, нашёптывающие что-то на ухо, искушающие сердца! Они-то и сжигают в камине родовую память. И пляшут как сумасшедшие в языках пламени, хохоча и присвистывая, глумясь над извольскими и меркуловыми.

– Сгиньте! – вырвалось у Розмэри, когда перед ней остановились два прилично одетых молодых человека с явным желанием познакомиться с хорошенькой девушкой.

Те испуганно отскочили прочь.

Она улыбнулась и пошла дальше.

## 14

Голос Меркулова по телефону был сердитым и раздражённым.

– Где вы... ты пропадаешь? Завтра открытие выставки. Я тут с ума схожу.

– Это неважно, – ответила Розмэри.

– Приезжай немедленно. Ты нужна мне. Даже и не предполагал, насколько нужна.

– А вы... ты нужен Андрею Петровичу.

В трубке наступило молчание. Слышались лишь приглушённые голоса из мастерской и смех.

– Вон оно что, – отозвался, наконец, Николай. – Об этом я как-то не подумал.

– О чём?

– О том, что ты так привяжешься к деду.

– А я вообще привязчивая. К хорошим людям. Вот и к тебе тоже, если честно.

– Обо мне не надо. А он, значит, теперь подбирает бродячих дворняжек и изливает им свою душу?

Розмэри положила трубку, потому что сейчас с ней разговаривал не Николай, а его злость. Она поправила на шее янтарные бусы – подарок Андрея Петровича – и вернулась на кухню, где тот заканчивал читать её новую небольшую повесть. Написала её Розмэри на одном дыхании за три дня и назвала «Письма с фронта». По рассказам и воспоминаниям генерала Извольского.

Может быть, повесть эта была поспешной и неровной, но свежей и искренней, уходящей из прошлого в нынешний день. А важнее всего то, что исповедальность её соединяла разные поколения, хотя конец оставался открытым. Автор словно бы не решался поставить финальную точку в истории брошенных в огонь писем. А, в общем-то, это была история любви. Любви и веры, как их пыталась понять Розмэри. Она с напряжённым вниманием следила за лицом Андрея Петровича, пока он не перевернул последнюю страницу. И тотчас произнесла:

– Ничего не говорите, ладно?

– Не буду. Но мне очень понравилось. Гораздо лучше, чем про человека-собаку, которого сбила машина. И сравнивать нечего.

– А вам всё нравится, что бы я ни написала.

– Нет, – сознался генерал. – В прошлый раз я вам лгал. А сейчас говорю правду. Меня просто за живое задело. И как вам только удалось всё так понять?

– Что именно?

– Ну, всё. Меня, тогдашнего, на фронте. Придумать эти письма, которые очень близки к моим. Если не по содержанию, то по группе крови, по запалу войны и смерти, по любви. Они сейчас словно вернулись ко мне назад. Иные, но... те же. Вот уж воистину рукописи не горят.

– Письма, – поправила Розмэри. – Именно этого я и добивалась.

– Да, письма. В них-то всё дело.

Андрей Петрович помолчал, возвращаясь к страницам рукописи. Потом продолжил:

– Здесь есть один эпизод, психологически очень точный. Откуда вам известно, что в девяносто первом году я сам хотел сжечь эти письма?

– Ниоткуда, – сказала Розмэри. – Но я подумала, что человек, находящийся в глубоком отчаянии, когда ему кажется, что всё погребло, то он готов уничтожить самое дорогое, лишь бы не досталось врагам. Как знамя, когда попал в окружение.

– Верно. Было такое.

– И выходит, что Николай не столь уж виноват перед вами. Он – это вы, на подсознательном уровне. Вы же сами это прекрасно понимаете, Андрей Петрович.

– Пожалуй, да, – согласился генерал. – Он очень на меня похож. И изобразили вы его с любовью.

– Как и он вас, когда писал ваш портрет. И неужели вы не хотите с ним встретиться?

Розмэри порывисто коснулась его руки, заглянула в глаза, хранившие васильковый цвет.

– Хочу, – ответил он, чуть помедлив. – Но...

– Никаких «но», – решительно сказала Розмэри. И добавила: – Мне кажется, что скоро он будет здесь.

## 15

Через полчаса раздался звонок в дверь. Матильда Ивановна пошла открывать и впустила в квартиру Меркулова с Пашей. Впрочем, последний деликатно остался на пороге.

– Ты-то зачем припёрся? – спросила у него Розмэри, когда провела Николая на кухню, к Андрею Петровичу. Она не хотела им мешать, поэтому выпроводила оттуда и любопытную тётушку.

– Да потому что... потому что это я сдуру, спяна сжёг ту связку писем, – ответил, зашептав, Паша. – Мою голову надо рубить, коли на то пошло. К тому же Николай боялся ехать один. Он хоть и гордый, но трус. Дай мне к ним пройти.

– Молчи об этом! – погрозила ему кулачком Розмэри. – Сами разберутся. Ты еле на ногах стоишь.

– Что здесь происходит? – спросила тётушка. – Кто-нибудь мне объяснит?

– Мяу! – отозвался кот, трясь о её ногу в шерстяном носке.

– Хотите выпить? – предложил ей Паша, протягивая фляжку. – Коньячный спирт. Сказали, армянский, но изготовили явно в Баку. Мне ли не почувствовать?

– Не откажусь, – согласилась Матильда Ивановна. – Сегодня меня что-то знобит.

– Всех знобит, – сказала Розмэри. – Тогда уж и я с вами чуть-чуть выпью.

Паша порылся в карманах и вытащил мятую шоколадку.

– А ты знаешь, что Николай делает наброски к твоему портрету? – произнёс он, слегка покачиваясь.

– Нет. Откуда ж мне об этом знать?

– О! Я заглянул украдкой в его альбом. Целая серия рисунков. Даже в обнажённом виде.

Розмэри покраснела. То ли от коньячного бакинского спирта, то ли от услышанного.

– Глупости, – сказала она. – Я никогда ему не позировала.

– А это и не надо. Он сердцем пишет, – ответил Паша. И уставился на Розмэри: – А что это за дурацкие бусы ты на себя нацепила? Сними немедленно. Чудовищный же у тебя вкус.

– Отстань, Паша.

– Не выпить ли нам ещё? – вмешалась Матильда Ивановна.

Розмэри посмотрела на часы. Покачала головой.

– Мне пора, – сказала она чуть грустно. Потом сходила в комнату за саквояжем и усадила в корзинку своего замечательного кота.

– Что значит – «пора»? – с негодованием спросил Паша.

В это время как раз и вышли из кухни в коридор Андрей Петрович и Николай.

– У меня билет, – объяснила Розмэри, глядя на них. – Поезд через полтора часа. Я возвращаюсь домой.

Наступила минутная, какая-то нервная пауза. Спокойнее всех выглядел генерал Извольский.

– Эх, был бы я лет на пятьдесят моложе, сделал бы вам предложение, – произнёс он.

– И я бы согласилась, – ответила Розмэри.

– Надо же! – сказала тётушка.

Паша приложился к фляжке, а Николай недовольно буркнул:

– Но ты не можешь... не можешь вот так взять и уехать! А выставка? А я?

– Ну при чём тут выставка? – Андрей Петрович улыбнулся и как-то подтолкнул Николая к Розмэри, которая держала в одной руке саквояж, а в другой – корзинку с Рексом. Кот-путешественник покорно ждал очередной дальней дороги. И все ждали чего-то.

– Я провожу тебя на вокзал, – сказал Николай.

– Нет, не стоит, – отозвалась она. – Мне легче одной.

– Но ты же вернёшься?

– Наверное.

– Если нет, то я сам за тобой приеду, Розмэри. Никак не привыкну к этому имени.

– Даша, – ответила она. – Меня зовут Даша, – и быстро пошла к уже открытой двери.

Николай КОСТЫРКИН

*Продолжение. Начало в № 3***ПЁС ИЗ МАХИ***Действующие лица*Амаргин – жрец Людей Мила<sup>1</sup>

Бадба, Фи и Нимайн – покровительницы войны, сестры Морриган.

Балор – предводитель фоморов<sup>2</sup>, отец Арианрод.

Бели – Изначальный Огонь, Праотец всего.

Блодейведд – первая жена Луга, созданная Мэтом и Гвидионом.

Боанн (Бойн) – госпожа одноименной реки, жена Дагды.

Бодб Дирг (Рыжий) – сын Дагды.

Бран – сын Лира, некогда владыка Острова Могущества<sup>3</sup>.

Бранвен – сестра Брана.

Брес – сын Лира, узурпатор власти среди Туатха Де Дананн<sup>4</sup>.

Бригитта (Бригид) – покровительница волшебства, мудрости, поэзии, кузнечного ремесла и акушерства, дочь Дагды, жена Бреса.

Гвидион (Киан) – отец Луга.

Герн (Кернуннос) – предводитель Дикой Охоты<sup>5</sup>, покровитель лесов и охоты.Гоибниу – Ди<sup>6</sup> – Кузнец.

Дагда – покровитель урожая и изобилия.

Дану – Великая Мать, Праматерь всего.

Диан Кехт – покровитель врачевания, отец Гвидиона.

Крейден – Ди-Медник.

Лабрайд – Младший Ди<sup>7</sup>, правитель Равнины Мертвых<sup>8</sup> в Верхнем Мире.

Лабрайд – один из Младших Ди.

Либан – Младшая Ди, жена Лабрайда.

Лир – Ди-Море, праотец фоморов.

Луг – Ди Солнца, отец Кухулина.

Лухта – Ди-Плотник.

Мананнан – сын Лира, Хранитель Врат, ведущих по Ту Сторону.

Матолвх – сын Лира, муж Бранвен.

Маха – покровительница войны, основательница города Эмайн-Маха<sup>9</sup>, сестра Морриган.

Миах и Аирмид – сын и дочь Диан Кехта, покровители врачевания.

Мидир – сын Дагды, один из Ди Нижнего Мира и сопряженных с ним территорий.

Мил – предок смертных.

Морриган – покровительница войны, вторая жена Луга.

Мэт – наставник Гвидиона.

Нуад Серебряная Рука (Аргатлам) – Ди-Небо, предводитель Туатха Де Дананн.

Огма – Ди-Поэт, создатель огама.

Оэнгус Сын Молодости (Мак Ок) – один из сыновей Дагды и Боанн, Ди Вечной Молодости.

Пвилл – Дух-покровитель фирболгов<sup>10</sup>.

Придери – сын Пвилла.

Сарф – Черный Дракон, рожденный Дану и Бели.

Файльбе – Младший Ди, соправитель Лабрайда.

Фанд – Младшая Ди, жена Мананнана МакЛира.

Этленн Серебряная Звезда (Арианрод) – мать Луга.

## Глава II

### Мысли вслух

*...поучительная история, питающая мудростью детское сознание на пути становления во взрослой жизни...*

Маленький мальчик шести зим от роду грустно сидел под старым вязом. Из-за ближних зарослей вынырнула рысь, грациозно подбежала к нему и приветливо лизнула в щёку.

– Ты опять не пришёл на прошлой семиночи, – обиженно буркнул мальчик и отвернулся в сторону.

Рысь превратилась в стройного мужчину с красивыми глазами и короткой рыжеватой бородой. Мужчина, вздохнув, уселся рядом. Облокотился спиной о ствол дерева.

– Прости, сынок, – сказал он. – У меня не получилось. Я был занят.

– «Занят», – передразнил мальчик. – Ты всегда так говоришь.

– Я скучал по тебе, Сетанта.

– Раз скучал, то почему не пришёл?

– Говорю же, не смог.

– А я ждал тебя до самого заката.

– Прости. Я постараюсь больше никогда тебя не разочаровывать.

– Я думал, Ди всё могут, – мальчик шмыгнул носом.

– Почти. Почти всё, – ответил мужчина.

Прошло три лунных оборота с тех пор, как Луг Самилданах впервые явился своему смертному сыну Сетанте. Они старались видаться раз в семиночь, не реже. Беседовали, веселились, рассказывали друг другу занятные истории. Суалтам, приёмный отец Сетанты, был далёк от подобного времяпрепровождения, хотя очень любил сына своей жены. А Луг в то время был для Сетанты кем-то вроде старшего товарища, надежного и верного. Пока что будущему Псу из Махи было этого достаточно.

– Дома не спрашивают, где ты раз в семь ночей так долго пропадаешь? – спросил отец сына.

– Да нет. Они привыкли. Я их, э... приучаю потихоньку. Да мне и скучно дома. Я шары люблю метать, играть в догонялки и всякое такое, – мальчик постепенно оживился.

– А я в твои годы из лука стрелять любил. Охотиться на дичь.

– Ух, ты! А научишь?

– Конечно, научу. Только не сегодня, хорошо?

– А твой папа брал тебя с собой на охоту?

– Брал.

– А мама? Мама охотилась с вами?

– Мама – нет. Она вообще не любила с нами время проводить. Да и признала она меня своим сыном далеко не сразу.

– Как это? – мальчик не по-детски серьёзно наморщил лоб.

– Ну, мой отец был из Ди, а мама – из фоморов...

– Фу! Фоморы же такие страшные!

– Не всегда они были такими. А моя мама всегда была красавицей. Она и сейчас ничего. Ну, так вот, Ди с фоморами уже начали потихоньку враждовать, и когда мама родила меня, отец забрал меня к себе и воспитывал сам. А к маме мы потом пошли. Знакомиться заново. Только она сначала подумала, что мой отец её обманывает и я не её сын, и отказалась признавать. Просто похож я был в детстве на папу, а не на маму.

– И что потом?

– Потом? Потом всё образумилось, и когда меня посвящали в мужчины, она сама дала мне имя и вручила первое мое оружие – меч и копьё.

– То самое, которым ты убил Балора?

– То самое, – эхом отозвался Луг, и по лицу его пробежала еле заметная тень.



Тень былой битвы...

*Луг Самилданах, Верховный Ди Туатха Де Дананн*

С завидной легкостью кружатся стаи птиц,  
Один виток, второй, но что же дальше?  
Какой певец готов пропеть без фальши,  
Когда сквозь горизонт не видно лиц?

Но, коль их принесет заветный бриз,  
И поднесут заплаканную чашу,  
Они не смогут снова вознестись.  
Они чужие впредь, они не наши.

*...вдохновенная речь Ди друиду, проходящему обряд имас фороснаи...*

А я играл на арфе и, улыбаясь, смотрел на них. Все эти жрецы, риги, благородные, люди ремесла, рабы – потомки сынов Мила, которые некогда были нашими врагами, а затем...

Мне нравилось приходить к ним в эти дни, когда они снова обручали нас с Морриган, благодарили за тёплое лето и просили об обильном урожае. Я всегда брал с собой свою любимую арфу – мне её давно, очень давно подарил Дагда – и вплетал незамысловатую импровизацию в их бадранный ритм. Получалось красиво.

Морриган тоже приходила со мной: ей нравилось слушать это – их бадраны и мою арфу. Который раз ловлю себя на мысли, что Блодейведд, моя бывшая, действительно не чета Морриган.

Морриган была неистовой на поле боя, когда её лицо скрывала бармица шлема, когда её меч с каждым ударом всё обильнее обгагрался кровью, когда каждый её дротик достигал тела врага. Иногда мне казалось, что собственной жены я боюсь на поле боя больше, нежели врагов...

...Но когда наступало время отдыха, она устало откладывала в сторону оружие, скидывала с себя доспехи и помогала разоблачиться мне. Мы умывались в ближайшем водоёме и ложились на траву. И она снова становилась кроткой, любящей и заботливой женой.

– Я покажусь ей, Мор? Ненадолго.

– Покажись, – кивнула она.

Жена знала, что так нужно. Она всегда меня понимала. И не ревновала к дочери Катбада, главного жреца уладов. Даже перед тем, как один-единственный раз посетив её, я сперва зашёл к жене.

– Иди, любимый, – сказала она. – Только не делай ей слишком больно. Пусть вам будет хорошо.

Морриган вообще ни к кому меня не ревновала, потому что знала: люблю я только её.

Мы с женой, как и весь Туат, прекрасно понимали, что если сыновья Мила сделали нас теми, кто мы теперь – Ди – то умнейшие из них могут найти способ заставить некоторых из нас принять участие в их играх.

К тому же мне постоянно казалось, что проклятие Балора может в любой момент сбудется.

Дейрдре увидела меня, и свечение вокруг её тела сразу же перешло в радостно-спокойные тона. За последние дни эта девушка многое пережила, и я считал, что единственная ночь любви, которую я подарил Дейрдре, не должна была стоить и слезы, пролитой ею.

Я скрылся от её глаз и продолжал смотреть, как жрецы призывают духов Земли, как те выходят в мир людей через самую грань Круга, как вливается в них живительная сила жертвенных цветов, разбросанных по краю Круга и развешанных на Древе-Вратах. Затем были призваны души сыновей Мила, когда-либо покинувших Мир Людей. Древо-Врата стёрло на несколько мгновений грань Миров, и десятки лиц взирали на своих потомков с Равнин Отдохновения. Их было немного, тех, кто прошёл все необходимые воплощения и воплотился в Третьем мире. Когда-то самые первые из них недолгобливали нас, Туатха Де Дананн и, не скрою, имели на это право. Но сейчас они полностью слились с нашим миром, миром, к созданию которого в какой-то мере они сами приложили руку. Воплощённые МакМилы вдыхали силу, исходившую от пролитого на землю пива и сжигаемого на огне хлеба.

Я и не заметил, как кто-то подошёл со спины. Это был Нуад Среброрукий, мой старший родич, а ныне – Небесный Владыка.

– Мы как всегда ненадолго, Самилданах, – сказал он, встав рядом со мной и приветливо кивнув Морриган. – Всё-таки, это ваш день.

Позади из пространства стали появляться другие мои родичи из Туатха Де Дананн. Все, как один, облачены в нарядные одежды и сверкающие доспехи, волосы расчёсаны и заплетены в косы, как и подобает случаю. И почти каждый – при фамильном оружии. Даже Дагда, Дарящий Господин, приволок на телеге свою именную палицу, которой он в своё время избороздил – в буквальном смысле слова – чуть ли не половину Мира Людей. Но вернее будет сказать, что палицу приволок на телеге не он, а два его прислужника, из младших Ди. Сам Дагда всего-навсего поддерживал ладонью рукоять, обмотанную бычьими ремнями. Среди родичей неприметно стояла моя кормилица Тальтиу, дочь Великой, бывшая когда-то одной из предводительниц фирболгов, Народа Кожаных Лодок, наших давнишних недругов. Её по всем правилам уже почтили накануне, и теперь довольная и умиротворённая, она не желала привлекать к себе излишнего внимания.

Нуад накрутил левый ус себе на ухо и скрестил руки на груди.

– Хорошее масло в огонь льют, – хмыкнул он, – даже горло не тербит. Научились. А быки у них худосочнее, чем год назад. Такое ощущение, что похищали их откуда-то с восточной оконечности Альбы. И телёнок-первенец не шибко мычит, будто усыпили его чем-то.

Я ничего ему на это не ответил. Каждый год, вот уже не одну сотню лет подряд, когда на Брон Трограине наступало время жертвы всему Туату, Нуад немного нервничал из-за того, что остальным Ди приходится нарушать нашу с женой идиллию, поэтому, когда масло испарялось, он притворно ворчал что-то вроде:

– Ладно, пару солнечных деньков в Сезон Самайна, если с Рогатым Герном договорюсь, они получат, – и уводил за собой весь Туат обратно, в Третий Мир, Мир Дваждырождённых.

Вообще, Туат у нас замечательный. Все Ди в большинстве своём дружны между собой. Мы часто подшучиваем друг над другом, особенно, когда собираемся вместе. Обычно это происходит в Бруге-на-Бойне, сиде Дагды, самого гостеприимного из нас. У него всегда к столу подаются сытная свинина и добрый мёд. «Просто выпить-закусить не с кем», – комментировал он очередное приглашение на посиделки.

Развеселившись на сытый желудок, мы заводили свои любимые песни: «Три Бригитты под окном меч ковали вечерком...», «Бадб до Морриган летит, Бадб на Морриган кричит...». Никто не обижался. Бригитта, дочь Дагды, даже иногда, веселья ради, разделялась на свои три ипостаси: одна держала в руках арфу, другая – кузнечный молот, а третья – небольшой чародейский котёл. А моя жена и её сестра Бадб, обнявшись за столом, как бы показывали всем присутствующим, что не то, чтобы кричат – ссорятся они крайне редко.

Не обходили наши шуточные песни и самого хозяина Бруга:

По Маг Туйред бродит Дагда  
И кричит: «Где мой овёс?..»

Эту песню часто любил заводить я, и дядюшка Дагда, как мы все любили его называть, не оставался в долгу. Раскрасневшись от мёда, он начинал голосить:

Ламфада, я вас любила,  
О-о, на-на-на-на!..

Не забывали мы и про фоморов. Эти песенки кто-то из наших сложил ещё давно, сразу после второй битвы при Маг Туиред, Равнине Столбов:

Скажи-ка, Балор, ведь недаром  
Копьём ты получил в орало?..

Или вот ещё:

Ай-ай-ай-ай, убили Бреса,  
Убили Бреса, убили!  
Ай-ай-ай-ай, ни за что, ни про что...

Над Бресом мы особенно любили издеваться, памятуя, как этот фомор-полукровка с бабским норовом и садистскими наклонностями узурпировал власть над Туатом. Так мы любили вспомнить наши победы и над фоморами, и над фирболгами:

Как ныне собирается вещей Нуад  
Отмстить неразумным фоморам...

Причем, удобный текст песни позволял при желании заменять по настроению «фоморам» на «фирболгам».

... Но очень редко в нашей развесёлой компании заводился разговор о том, чем закончилось прибытие МакМилов, когда мы все вдруг поняли, что море, оказывается, очень просто переплыть, подобно тому, как это делали древние Кессаир, Партолон и Немед.

Но когда все весёлые песни были спеты, все курьёзы – старые и новые – рассказаны, поднимался со своего места Дагда, небрежно оправлял свою любимую короткую рубаху, наполнял кубок мёдом и говорил:

– Теперь мы пьём за третью битву при Маг Туиред, за тех, кто именовал и продолжает именовать себя МакМилами, а нас именует Ди. За тех, кто были нашими врагами, а теперь стали нашими детьми. И мы молча вставали и осушали кубки до дна. Не чокаясь. В какой-то мере это был погребальный тост нам самим – тем, кем мы были прежде. А потом мы вполголоса начинали песню, песню о временах Договора. Вернее, это и был тот самый Договор, позднее положенный на музыку и ставший песней. Всегда печальны наши лица, когда мы поём её:

Много веков мы, Дети Великой,  
Этому краю дарили любовь.  
Теперь не увидите вы наши лики:  
Мы под землёй обретём новый кров.

Для вас наши знания отсыреют,  
И наши лица сокроет вода,  
Но память о нас останется в скелах –  
Мы частью мира пребудем всегда.

Мы остаёмся клубами тумана,  
Мы остаёмся безмолвьем озёр,  
Мы будем звуком речного шептания,  
Лес сохранит мудрый наш разговор.

Ваши потомки о нас позабудут  
Сквозь очертанья кровавых веков.  
Но музыка наша с ними пребудет  
Средь башен высоких и древних мостов.

И кто-то из них в подлунном тумане  
Узрит наших белых прекрасных коней.  
И всё, что ваш мир покидает нежданно,  
К нам возвратится красою своей.

Ведь битвы людские, как было и ране,  
Не больше, чем шум наших воинских дней.

...Знал бы я, во что выльется этот Договор!

\* \* \*

– Всё, Самилданах, мы уходим. Счастливо, доброй земли!

– И тебе доброй земли, Аргатлам, – ответил я Нуаду.

Морриган приветливо кивнула. Мы оба знали: они все здесь, неподалёку. Будут впитывать силу, пока древесные жрецы не поблагодарят их за прибытие и не закроют Врата. Но Нуад был умным чародеем и, став Ди, не утратил своих былых навыков: мы с женой почти не ощущали присутствия остального Туата.

Духи земли почти растворили свои силуэты в воздухе и стояли спокойно, не снуя между людьми. Дважды рождённые МакМилены тоже иногда стреляли взглядами в нашу сторону.

Теперь жрецы перешли к главному в своём обряде – венчанию: на острие копья был насажен «одноглазый» хлеб, а к древку оружия привязали куклу. Мы с женой взялись за руки.

– Забавно каждый год быть невестой, – сказала Морриган.

– Да уж, – задумчиво отозвался я, – что-то в этом есть...

– Как ты думаешь, они действительно любят нас?

– Кто?

– Они, люди.

– Не все, Мор, – ответил я. – Но в большинстве своём – да.

– А остальные – боятся?

– Боятся, – я отложил арфу в сторону, и она тут же застыла в воздухе.

Теперь по команде Катбада все собравшиеся сосредоточились на своих нуждах и просьбах. Мы с женой, как подобает настоящим Ди, закрыли глаза и настроились на мысли людей. Одновременно с этим ореол Воли Ди вокруг нас стал увеличиваться: на его увеличение шло всё – наша сила, сила Туата. Но, прежде всего, – сила жертвы, принесённой в этот день. Раньше, каких-то шесть веков назад, я еще уставал от этого действия. Потом привык.

– Светлые, пусть моя жена выздоровеет!

– Я не хочу на этот Самайн остаться одна. Помогите мне найти достойного мужа!

– Помогите избрать верный путь. Продолжить обучение на лиаха-целителя или жениться на Финд, дочери бондаря?

– Я хочу, чтобы мой сын стал достойным человеком, только не знаю, где он проявит себя с наилучшей стороны: отдать его на обучение в Роцу или на воинское воспитание в дружину Конхобара?

– Дайте силы в предстоящем состязании по метанию копья!

– Пусть моя сестра, пропавшая этой весной, вернётся домой невредимой. Пожалуйста!

– Стар я уже, но дайте сил ещё на тридцать колесничных колёс! Если я не продам товар, моей семье нечем будет кормиться после Самайна.

– Помогите пройти посвящение в барды. Я так долго к нему готовился, целых полтора года.

Были и такие:

– Пусть я убью в следующем году больше коннахтов, чем прикончил в этом!

– Пожалуйста... ещё пять коров, и стану богаче этого задавалы Куннлойха!

И тут же:

– Светлые, не давайте Аблаху обогатиться ещё на пять коров, иначе в следующем году мне придётся уступить ему часть своего надела.

«Ты даёшь первому коров, я – второму» – подсказала Морриган.

«Договорились», – рассмеялся я.

На подобные просьбы, которых на каждый Брон-Трограйн набиралось, к счастью, не больше пяти-шести, мы реагировали на свое усмотрение – Воля Ди это позволяла – иногда добавляя в свои действия немного юмора.

Одновременно мы видели сотни людей, слышали сотни голосов и отзывались одновременно на все. И, если это было в наших силах, исполняли. Подчас приходилось присутствовать в нескольких местах одновременно, если нашу с Морриган свадьбу праздновали в одно и то же время, скажем, у муманов и лагенов, или если кто-то решил праздновать не в традиционном священном месте, а на местах.

Воля Ди была с нами.

Мы могли всё.

...почти всё...

– О, Великий Луг! И снова прошу тебя не забыть своё обещание. Уладам нужен герой, дабы оборонять рубежи пятины. Им нужен твой сын...

– Проклятье! Это снова Катбад. Чинно обращается, складно – не придерёшься. Знает, что я не нарушу слова.

– Не мрачней, – Морриган сильнее сжала мою руку, и всё мигом встало на свои места. Я больше не злился на этого прожженного интригана. Я дал слово – вынужден был дать – мне и держать ответ.

– Не забудь об оглашающем, – это снова Морриган.

И вправду, пора. Один из младших жрецов уже начал изменять своё сознание, чтобы промедлить между Мирами и узнать нашу волю. Сквозь дым и силу очередных приношений мы видели его, чувствовали, как он шаг за шагом всё увереннее настраивается на Верхнюю Преграду Мира Людей, которая в данный момент была ненадолго стёрта. Точнее сказать, он настраивался на Волю Ди, ту её часть, которая в этот момент исходила от нас. Так через свою подсознательную сущность оглашающий получал то, что люди привыкли называть предзнаменованием. И чем лучше жрец настраивался на Волю Ди, тем сильнее и отчётливее давалось ему «предзнаменование». Которое оглашающий, вернувшись, можно сказать, на землю, говорил остальным. Грамотность словесной формы того, что он ощущал, медля между Мирами, зависела от образованности и опыта жреца.

Этот действовал весьма неплохо. Под конец мы даже почувствовали его внутренний взор и внутреннее дыхание. Да, Катбад хорошо готовит своих учеников, а этот был именно учеником Катбада – видно по манере исполнения: та же напористость в действиях, та же «скалолазная» хватка.

Что-то похожее вытворял в своё время молодой Огма, когда пытался на расстоянии ввергнуть в панику фоморов перед очередной стычкой.

Оглашающий толковал предзнаменование весьма сбивчиво и бестолково. По неопытности твердил только «Свет, тепло, лучи».

– Файт увидел улыбку Луга! – спас положение Катбад. Где-то он оказался прав.

Среди людей раздался ободрительный гул.

Затем все причащались дарами Земли – хлебом и вином. После этого снова забили бадраны, и Катбад с ещё одним жрецом, Ферхертне – его я очень уважал и, прежде всего за честность – принялись благодарить. Вначале – нас с Морриган, затем остальной Туат, духов Земли, дважды рождённых МакМилов, и, наконец, Мананнана, сына Лира, Господина Проходов по мирам. Как только по призыву Катбада проход закрылся, и все, кого призвали на обряд, начали разлетаться и растворяться, из воздуха плавно возник Мананнан МакЛир, пребывавший до сего момента во всех необходимых для обряда Проходах. Сын Морского Ди направился к нам.

– Доброй земли, родичи! – весело поздоровался он, картинно вытерев пот со лба.

– Доброй воды, Манн! – ответили мы.

– Хороший сегодня денёк, – сказал Мананнан. – Правда, припекает немного; мне, привычному к морскому климату, такая погода не по душе.

– Да, есть немного, – согласилась Морриган.

Это они так слегка надо мной подшучивают. Ведь солнце – моё око, через которое я смотрю на мир. Они не догадались, что у меня это вызвало не очень хорошие ассоциации.

– Друзья, – Мананнан мигом понял, что именно не так и решил сменить тему, – раз на то пошло, может быть, зайдём ко мне, а? По кружечке чего-нибудь холодненького?

– А почему бы и нет? – компания двоюродного родича всегда была мне по душе. – Что ты на это скажешь, Мор?

– Только давай без «полетели», – поморщилась жена. – Я женщина нежная, слабая и немного притомилась. Тебя хватит на ещё одну дверцу, Ман?

– Не вопрос, – улыбнулся МакЛир.

И мы шагнули в нарисованный в воздухе проход.

\* \* \*

Дорогая Бригитта, научившая МакМилов слагать скелы, подкажи мне первую фразу той истории, которую я хочу поведать самому себе. Что, что ты говоришь?.. Ага, понятно..

Ну что ж, начнём, пожалуй.

Как зовут меня, статного, благородного, с копьём в руке?

Нетрудно сказать: имя моё – Луг Ламфада Самилданах Лоннансклех – Свет Длиннорукий, Многоискусный, Неудержимый–В–Сражении, сын Киана Светлого Господина сына Диана Кехта Врачевателя, Верховный Ди Туатха Де Дананн.

Я никогда не жаловался на жизнь: до определённого момента интересное и необычное в ней било через край. Необычным было моё появление на свет. Мой отец, Киан, сын Диана Кехта Врачевателя был самым младшим сыном в семье. И самым неугомонным. Врачеватель полностью передал своё искусство старшим детям – моим дяде Миаху и тёте Аирмид.

Но потом наши сразились с Народом Кожаных Лодок, Фир Болг – мы их называли просто фирболгами – и верховному предводителю Нуаду отрубили в сражении правую руку. Увечный воин не мог больше править нашим народом, и Нуаду пришлось уйти. Врачеватель сработал ему серебряную руку, которую было невозможно отличить от настоящей, и с тех пор бывшего вождя прозвали Нуад Аргатлам – Серебряная Рука. Это прозвание сохранилось за ним и, когда новая рука пришла в негодность и зарубцевавшаяся плоть снова начала гноиться, тогда Миах и Аирмид извлекли забальзамированную отрубленную конечность Нуада, приставили её к ране и при помощи своего заклинания срастили руку с телом.

– Вот какие у тебя дети, – говорили Врачевателю. – Гордись! Знатные чародеи из них выйдут. Того гляди, ещё твой младшенький в них пойдёт.

Врачеватель посчитал, что он не зря десятилетиями постигал своё искусство, чтобы его собственные ученики оказались лучше своего учителя. Он всегда был хорошим целителем, но доводил своё честолюбие до крайности. Наверное, сказывались суровые будни, когда недужные переставали быть для него людьми, а становились просто рабочим материалом, который следовало довести до ума.

Так или иначе Врачеватель устроил Миаху очную ставку.

– Посмотрим, на что ты действительно способен, – процедил он сквозь зубы, когда сын покорно явился на встречу, и нанёс тому мечом удар в голову. Тот, получив рану, закрыл глаза, сосредоточился, и в считанные мгновения рана затянулась. После второго удара произошло то же самое. Но третий удар лишил Миаха половины головы. Он закачался, грустно посмотрел на отца и, неуклюже развернувшись, побрёл шатающейся походкой прочь, на ходу прорасчивая заново мозг, недостающую часть черепа и ткани головы.

Миах остался непобеждённым. Но больше никто его не видел. На месте, где земля обагрилась кровью из ран Миаха, выросло множество целебных трав, и Аирмид собрала их на свой плащ. Она не слышала, как подошёл Врачеватель:

– Ещё одна умная нашлась! – и травы, посыпавшись с плаща, были безжалостно втоптаны в землю.

Всю эту сцену наблюдал Киан, мой отец.

– Ты! – подскочил он к Врачевателю. – Хочешь быть лучше всех?! Я уйду от тебя, буду жить один и стану могущественным чародеем! Намного лучше тебя.

– Иди! – рассмеялся Врачеватель сыну. – Можешь не возвращаться, неблагодарный. Я больше тебя не знаю.

Киан покинул Зелёный Остров и отправился на Остров Могущества к Старому Мэту. Выслушав молодого человека, Мэт сказал:

– Врачеватель из-за своей надменности лишился обоих сыновей. Что ж, я могу извлечь из этого пользу, приобретя себе ученика.

Так Киан стал учиться у Мэта. Он усердно постигал чудодейственные свойства Стихий, учил языки зверей и птиц, слушал мудрость воды и советы деревьев, совершенствовал искусство перевоплощения в лесных обитателей. При посвящении мой отец выбрал себе имя «Гвидион» – Светлый Господин.



– Неплохой выбор, – кивнул Мэт, – но твоё новое имя ко многому обязывает. По силам ли тебе будет его носить?

– Я постараюсь, – ответил Гвидион.

И он старался. Старался, потому что в душе постоянно взращивал и лелеял надежду вернуться домой и заставить отца признать, что и он, его сын, достоин называться истинным чародеем. Гораздо более искусным, чем сам Врачеватель. Но Гвидион был молод и жаждал приключений. И приключения сами находили его, что потом едва не оборачивалось довольно печальным исходом.

В те времена Туатха Де Дананн, Племя Дану, только недавно прибыло со Старой Равнины на Зелёный Остров, где до этого хозяйничали фирболги. Столкновение было неизбежным и стоило фирболгам поражения, а Туатха Де Дананн – или просто Туату – смены вождя, из-за которой впоследствии началась гораздо более серьёзная война.

Но об этом потом.

Итак, люди Туата жили бок о бок с фирболгами, которые постепенно смирились со своим поражением на Равнине Столбов и потихоньку налаживали связи с новыми соседями. Эти два народа не похожи друг на друга: люди Туата высоки, стройны, со светлой кожей, фирболги же заметно отличались низким ростом, изрядной длиной рук, смоляными волосами и дикой любовью к татуировкам. Мечей фирболги не делали, а дома строили из больших камней.

Туат был гораздо могущественнее фирболгов: лучшие его представители, коих было не мало, владели искусством боя и чародейской наукой. Фирболги нашего чародейства не знали. К тому же они в отличие от людей Туата старели и, покидая свои тела, растворялись в Мироздании. Но среди их предков были могучие люди, которых почитали ещё при жизни, как мы чтим Великую Матерь Дану и Изначальный Огонь Бели. Эти предки после смерти оставались в своих телах, становясь всё сильнее, подчиняя себе окрестных духов.

Большинство фирболговских предков обитало на Острове Могущества, Инис Кедирн. Те из Туата, кто поселился там, могли стать ближайшими соседями Предков, во главе которых в то время стояли некто Пвилл и его сын Придери.

Странных существ рождало Мироздание. Некоторыми из них и владел Придери. Фирболги называли их мокхами, а мы позже окрестили их названием «свиньи». Мокхи стремительно плодились, и мясо их было очень хорошим на вкус.

И когда Гвидиону вздумалось отблагодарить своего учителя за вложенные в него силы и нервы, он сделал так, что нервов у Мэта поубыло ещё вдоволь. На Придери и его помощников были навешены чары, а мокхи, беспечно хрюкая, послушно трусцой проследовали за Гвидионом в обитель Мэта.

– Это что? – спросил он у ученика.

– Это тебе. Подарок. От меня, – и Гвидион гордо выпятил грудь.

– Подарок, говоришь? – сдвинул брови Мэт. – А это тогда что?! тоже подарок?!

Гвидион и сам теперь почувствовал, как яростная ватага фирболговских Предков и духов уже начала двигаться по его следу.

– Хоть бы чары наконец-то научился на расстоянии удерживать, неуч, – буркнул Мэт. На дальнейшие нотации уже не было времени. – Пошли! Вот и подоспело время последнего урока.

Последним уроком, преподанным Гвидиону, стало то, что потом назовут Битвой Деревьев. Мэт шепнул на ухо ученику Заклинание Движения.

– Запомнил? – спросил он.

Гвидион неуверенно кивнул.

– Тогда, вперёд! И пусть эти выскочки надолго запомнят, как связываться с моим учеником, – хохотнул вечно суровый Мэт и начал произносить Заклинание вслух. Гвидион последовал его примеру. Хоть и смутно, но он таки начал понимать, каких колоссальных сил потребует от него эта Битва и та выволочка, которую – обязательно! – устроит ему учитель, когда всё кончится, покажется непринуждённой беседой на сон грядущий...

К закату деревья отогнали врага за ближайшую горную гряду, и после непродолжительных переговоров исход сражения было решено разрешить поединком.

– Ладно, – уставший Гвидион вытер меч о траву и уселся на склоне холма, провожая взглядом понуро удалявшегося восвояси израненного Придери. – Я был не прав. Я поступил необдуманно, и мне нужно иногда немного работать головой, а не тем, на чём сижу. Всё перечислил из того, что ты хотел сказать мне, учитель?

– Устал?

– А то!

– Тогда отдохни.

Но Гвидион понял дозволение Мэта, как всегда, по-своему. Погоня за подвигами ратными сменилась страстным желанием подвигов любовных. Поиски прекрасной незнакомки привели его на остров Торах, в дом Балора, одного из потомков Лира. Вскоре после ночи, проведённой Гвидионом вместе с дочерью Балора Этленн Серебряное Кольцо, на свет появился я.

Балор был очень заботливым родителем и не потерпел бы в своём доме незаконнорожденного внука. Поэтому Этленн с радостью отдала меня Гвидиону, и тот принялся растить меня сам. Вернее, они растили меня вдвоём: отец и Мэт.

Мэт души во мне не чаял. Когда я еще был в грудничковом возрасте, он брал меня на руки и рассказывал сказки, где главным героем всегда выступал Солнечный Лучик, путешествующий по лесу, помогающий его обитателям выпутываться из всевозможных опасных историй.

– У тебя все сказки на одно лицо, – слегка ворчал Гвидион. Наверное, он чисто по-отцовски меня ревновал.

– Всегда мечтал понянчить внуков, – улыбался Мэт.

– Эх, а вот у меня, – сказал сидевший рядом Дагда, родич Мэта, – вроде бы и есть семья, а буд-то её и нет. Наши с Боанн дети уже давно взрослые, своей жизнью живут. Бригитта, старшая моя, всему спешит научиться, аж надрывается. У меня искусству Котла Жизни обучилась, а теперь вот, говорят, с Гоибни-Кузнецом клинки да плуги куёт. Замуж недавно вышла – за Бреса из потомков Лира. И чего она в нём нашла? Разве что смазливый больно. Может быть, поэтому такой гонористый? В общем, не пара он ей, такой разумнице. Мидир сидит себе на Инис Фалге и носа оттуда не кажет: он у меня с детства людей чурается. Хотя малый добрый, никого почём зря не обидит. Бодб, Рыжие Кудряшки, и Огма небось и сейчас хотя бы раз в семиночь выясняют, кто из них сильнее бьёт да лучше стреляет. Огма – я ещё слышал – стихи сочинять стал, неплохим заклинателем будет. Оэнгус, младшенький мой, мамин любимчик – и тот, наверное, уже совсем взрослый стал... А у тебя, дружище Мэт, сейчас настоящая семья. Или хочешь сказать, что Гвидион тебе не как сын? А коли так, значит, мальчишка внуком приходится.

Дагда частенько забирал меня с собой на Зелёный Остров, и я подружился со всеми его детьми. Ещё я бегал к Кузнецу Гоибниу, помогал раздувать мехи, и мы даже кое-что выковали вместе. Дагда заметил мой интерес к ручному ремеслу и стал водить к Лухте-Плотнику и Крейдену-Меднику.

– Поучите мальчика, – говорил он им. – С вас не убудет.

Поворачивался ко мне и говорил:

– Учись, маленький Светик, учись. Из тебя в чём-то, да выйдет толк. Или я – не я!

Огма учил меня слагать стихи, а Рыжий Бодб – бороться.

Сам же Дагда любил брать свою палицу и вспахивать поле для посева зерна. Вечерами же он брал арфу, настраивал и...

До сих пор не понимаю, как грубые куцупые пальцы Дагды могли извлекать из хрупкого инструмента такие замечательные звуки. Поиграв немного, он давал арфу мне в руки и начинал объяснять:

– Эту струну вот здесь одним пальцем, тогда звук будет такой... Хорошо. А если взять её вот так, тогда звук будет идти ниже. Если научишься играть, подарю её тебе.

– Арфу?

– Арфу. Неужто ты не хочешь?..

Шло время. Вместо смещённого Нуада правил Красавчик-Брес, потомок Морского Лира. Некоторое время замужем за Красавчиком была Бригитта, дочь Дагды. Но Красавчик был надменен и спесив, и никто из Туата не понимал, почему всеобщий выбор пал именно на него. Брес, как и я, был полукровкой: отец его был из Туата, а мать – из потомков Лира. Но так или иначе Красавчик во-

царился, и многие вожди потомков Лира пользовались положением своего сородича, чтобы обрести влияние в Туате. Потом Бригитта ушла от Красавчика, наверное, потому что ей надоело его постоянное самолюбование. Тот не смог её вернуть и, взъевшись на весь Туат, начал облагать всё большей данью. Туат злился, скрипел зубами, но открыто выказывать своё неудовольствие не решался.

Дагда всё больше времени проводил у нас, на Острове Могущества.

– Душно мне там стало. Покоя нет от этого... *Красаффчега*. Он ещё осмелился требовать, чтобы я возвёл ему дун! С какой это стати?! Обойдётся!.. А вообще, надо что-то делать...

Однажды Мэт позвал меня к себе. Он сидел в своих покоях, рядом были Дагда, отец и незнакомый юноша с большими печальными глазами.

– Садись, – сказал мне Мэт, – разговор будет длинным.

Я сел.

– Вот, познакомься: это Мананнан, сын Лира, твой дальний родич. Он прибыл с Зелёного Острова и принес нам довольно важные вести.

Дагда добавил:

– А потом я глянул в свой Котёл<sup>11</sup>, и все это стало для меня ещё... хм, важнее.

Я спросил:

– В чём, собственно, дело?

– Когда-то давным-давно, – начал Мэт, – Лир взял клятву со своих детей, что никто из них ни в одном колене не поднимет руку на сородича. Это была очень страшная клятва – по всему Мирозданию великая дрожь тогда пробежала! И вот теперь клятва нарушена. Мананнан принёс нам эту весть. Брана, Благословенного Ворона, сына Лира не так давно убил его родич Матолвх.

– Сама история весьма жуткая, – дальше говорил Дагда, – Белогрудая Бранвен, сестра Брана, была замужем за Матолвхом. Тот её иногда бил, вот она брату и пожаловалась. Слово за слово, кулаком по столу – вот и сошлись две могучие дружины...

– Ворон не покинул своего тела, – сказал Мананнан. – Он перенес свой дух в голову, приказал отрубить ее и закопать здесь на Инис Кедирн, в Белом Холме у Восточной Реки<sup>12</sup>.

– Вот, – произнес Дагда, – Манн там был и сражался в этой битве за Ворона.

– Всё равно не уберёг, – опустил голову Мананнан.

– Будет тебе, – сказал Мэт. – Ворон жив, а битва с самого начала была полной бессмыслицей.

Мы все знаем, что ты сделал всё, что смог.

Помолчали. Мананнан сказал:

– Я всегда в мыслях своих был на стороне Туата, и мне претит господство Бреса-Красавчика на Зелёном Острове. Я уже давно больше член Туата, нежели потомок Лира. Может быть, поэтому превращения, постигшие всех моих родичей, не коснулись меня.

Я спросил:

– Что за превращения?

– После этой междоусобицы, – продолжал Мананнан, – с детьми Лира стало происходить что-то непонятное и устрашающее. Они начали превращаться... в чудовищ. Один за одним. У кого чешуя вместо кожи, у кого лишние две руки вырастут, у кого – хвост или второй-третий ряд зубов... Их так и стали теперь называть – фоморы. Ужасные.

– Стоило ожидать, – сухо произнес Мэт. – Первые дети Лира, чтобы грубо не сказать, особой статью и красотой мало отличались. Только потом, примерно в пятнадцатом поколении они стали такими, какими были до недавнего времени. Нет ничего удивительного, если нарушение клятвы спровоцировало деградацию целого рода.

Мананнан продолжал:

– Теперь очередь дошла до Бреса. Он превратился в чудовище: пальцы на каждой руке срослись в один, ноги выгнулись суставами в стороны.

– А это уже считается увечьем, – произнёс отец. – Поэтому в Туате, скорее всего, воцарится Нуад, благо его отрубленная рука стараниями моего безвременно ушедшего брата уже давно срослась на своём старом месте.

– Есть одно «но», – Мэт задумчиво смотрел перед собой. – Дети Лира, или, как их теперь называют, фоморы, имели слишком большое влияние на Зелёном Острове, чтобы так просто от него отказаться. Особенно Балор – твой дед, Луг.

– И моя мать, – это были мои слова.

Воцарилось долгое молчание.

Нуада встречали, словно он уже был победителем в назревавшей войне. Накануне его дружины прогнали с Зелёного Острова последних фоморов. Те, скорее всего, добрались до острова Торах, резиденции Балора, и он, наверное, уже принялся собирать армию.

Величественный Нуад подошёл к нам с отцом.

– Добро пожаловать домой, Киан, сын Врачевателя! А это, насколько я понимаю, твой сын, тот самый Луг, который обучался всевозможным ремёслам?

– Истинно так, владыка, – кивнул отец.

– Ну, что ж, – Нуад повернулся ко мне, – добро пожаловать, Самилданах, Мастер-на-все-руки! Возможно, ты сумеешь помочь нашему общему делу.

Наш разговор никто не слушал.

Вождь сел. Мы с отцом и Дагдой последовали его примеру.

– Итак, – начал Нуад. – Фоморы скоро начнут наступление. Их чародеи слабее наших, но они обладают кое-чем, что заставит нас немало потрудиться, давая им отпор. Мои соглядатаи говорят, что после битвы Брана и Матолвха Балор в своих превращениях потерял один глаз. Но оставшийся стал ядовитым. Кое-кто воочию видел, как Балор поднимает своё веко, ставшее непомерно тяжёлым, и то, на что он смотрит, обращается в пепел.

Дагда сказал:

– Если это действительно так, значит, фоморы возлагают большие надежды на глаз Балора. Они сделают это чудище с острова Торах своим военным вождём.

– Дагда, ты знаешь этого парня достаточно давно, – сказал Нуад, указывая на меня. – Ты ведь не забыл пророчество Туата?

Дагда усмехнулся:

И будет Смертоносный Глаз

Пронзён Ассал-копьем могучим,

Проворной посланным рукой

Владыки Множества Ремёсел.

А как ты думаешь, для чего я частенько стал навещать куманька Мэта с Острова Могущества? И для чего я забирал мальчонку к себе и водил от мастера к мастеру?

Мы с отцом удивлённо воззрились на Дагду.

– А чего тут такого?! – тот смешно развёл руками. – Просто я иногда знаю больше других. И если бы я это рассказал, что-нибудь бы изменилось?

– Ну что, – поднялся со своего места Нуад, – пора приниматься за дело.

И мы принялись.

Первые набег фоморов жестоко отбивались прибрежными отрядами Туата. Я попал в один отряд с Морриган и её сёстрами. Поначалу Морриган попыталась поднять меня на смех:

– Смотрите, девчонки, этот симпатичный молодой человек, наверное, хочет стать великим воином. Уверена, что первому попавшемуся на пути фомору он, не долго думая, доблестно сдастся в плен. Эй, Светик, а фоморы, говорят, пленных не берут, учти это!

Я ничего не ответил. После первого боя и так стало понятно, что к чему.

– А ты молодец! – Морриган села рядом со мной, положив подле себя искромсанный вражескими клинками нагрудник. – Скольких сегодня порезал, пятнадцать?

– Девятнадцать, – невинно улыбнулся я, продолжая чистить свой меч от запёкшейся крови.

– А это правда, что у тебя есть Копьё Ассал, одно из Четырёх Святынь?

– Правда.

– Это хорошо. Значит, у Туата есть все Четыре: Котёл Дагды, Камень Судьбы, Меч Нуада Аргатлама и вот теперь твоё Копьё. Ведь раньше оно принадлежало детям Лира?

– Да, – ответил я. – Переходило от них к Туату и, наоборот, из поколения в поколение, как приданое к свадьбе.

И сам задал вопрос:

– А это правда, что ты была замужем за Врачевателем, моим дедом?

- Хм, не успел приехать, а уже узнал.
- Твои сёстры шептались, а я услышал.
- Нехорошо подслушивать, когда старшие говорят.
- Почему вы с ним расстались?

Морриган тяжело вздохнула:

– Недоразумение. Дурацкое, непонятное недоразумение. У нас вдвоём всё было замечательно, пока я не родила сына, а в животе у него муж увидел змей. Он сам принимал роды, и тут же, на моих глазах, вскрыл нашего мальчика, вытащил этих змей и сжёг их. Когда пепел летел в реку, она вдруг забурлила, и тут же вся рыба всплыла животами вверх. С тех пор мы больше не живём вместе.

Потом она долго молчала.

- Почему ты спросил?
- Ты мне нравишься, – ответил я.

Морриган ничего не ответила. Спустя несколько ночей мы стали ложиться спать рядом.

\* \* \*

Но с каждым днём всё больше и больше фоморов прибывало на Зелёный Остров, и Нуад разослал по отрядам гонцов с приказом отступить к Равнине Столбов. Именно там войска Туата должны были соединиться и встретить врага.

Маг Туиред, Равнина Столбов. Огромная плоская земля, усеянная стоячими каменными глыбами, словно чья-то гигантская рука воткнула их в случайной очерёдности.

Эти исполины уже виднелись вдали, когда я неожиданно для самого себя осадил лошадь и свернул с тракта.

- Сейчас догоню, – крикнул я остальным и углубился в вековой лес.

Через некоторое время лошадь моя тревожно заржала. Я спешил, привязал её к дереву и пошёл дальше сам.

... На поваленном стволе дерева спиной ко мне сидела крупная фигура, закутанная в плащ.

– Ну, вот мы и встретились, внучек, – хрипло произнесла фигура, и я вдруг понял, кто сидит передо мной.

Я обошёл Балора и сел рядом с ним. Единственный глаз фомора был закрыт массивным веком. Почему-то я знал, что именно сейчас Балор меня не тронет.

- Я слышал, тебя прозвали Лоннансклех, Неудержимый-в-Битве?
- Кому-то свойственно преувеличивать заслуги других.
- Как знать, как знать... Мои люди бежали от тебя, словно бы перед ними стоял сам Огненный Бели.

– Зачем ты меня позвал?

– Поговорить хочу. Ты ведь не чужой мне, как-никак.

– Тогда говори.

– Завтра мы дадим вам сражение. И я буду искать тебя на поле боя, так что тебе не придётся долго ждать.

– Ждать?

– Я ведь тоже знаком с Пророчеством и знаю, что должно произойти, даже если испепелю завтра весь Туат. Когда мой облик стал меняться, и стена вокруг заполыхала от моего взгляда, я всё понял и очень долго смеялся. Раньше я наивно полагал, что Пророчество – лишь очередная дивная сказка. Ещё больше я развеселился, когда мне стали рассказывать про тебя, как тебя обучают, натаскивают в искусстве чародейского боя и владения оружием. Хитёр старый Мэт, и Дагда хитёр, ничего не скажешь! Они хорошо берегли тебя, пряча от многих.

– Тогда зачем ты пришёл на битву, если знаешь, что тебе конец?

– Есть вещи, которые нельзя изменить, я это давно понял. Только всё будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Ты убьёшь меня завтра там, на Равнине Столбов. И я не вернусь назад, а останусь там, куда попаду после смерти – это мне тоже доподлинно известно. Захочешь, чтобы этого не произошло, отруби мне голову и водрузи на свою – тогда моя сила перейдет к тебе. И не

забывай, что мы с тобой, как-никак, родичи. А родство полукровки подчас даёт довольно неожиданные результаты.

– И что дальше?

– Дальше? – едко усмехнулся Балор. – Дальше у тебя родится сын. Тоже полукровка, как и ты сам. И ты переживёшь его, как Морриган пережила смерть своего грудничка. Твой сын будет умирать, а ты, видя это, ничего не сможешь сделать вопреки... Всё очень просто: я твой дед, и где-то мы с тобой – одно целое. Убив меня, ты приговоришь к смерти часть себя. Ту часть, которая и станет твоим сыном. Ты просто нарушишь равновесие в самой своей сути. Когда я уйду и воплощусь заново в другой части Мироздания, все дети Лиры отступят и больше никогда сюда не вернутся хозяевами. И это тоже будет нарушением равновесия. Потому что дети Нуада и дети Лиры – суть две стороны одной Вселенной. И Вселенная, чтобы не дать крен, пошлёт сюда других. Мы все – звенья одной цепи. Помни это. Я всё сказал.

И – исчез, как будто бы его и не было.

\* \* \*

– Они дрогнули!

– Балор пал!

– Бей фоморов! Режь всех!

[ Они навсегда забудут сюда дорогу ]

Мимо пронёсся Рыжий Бодб, за ним – неистовая Немайн, одна из сестёр Морриган. Фоморов гнали прочь с Зелёного Острова. Прочь с нашей земли.

Я выдернул копьё из глаза распластавшегося на камнях Балора. Всё было кончено.

– Прощай, дед Балор, – сказал я телу фомора. – Твой урок я запомню.

Внезапно на ум пришла история о голове Ворона Брана. А что, если?..

Я вытащил меч и со всего размаху снёс Балору голову. Теперь, подумал я, он точно не воплотится снова, его дух так и останется в голове. Правда, в отличие от головы Брана, эту не захоронят с почестями. И я, взяв уродливую голову Балора, поставил её на большой валун подле себя. Который тут же оплавился, словно медь, и растёкся у моих ног.

Яд! Ах, значит, снова яд?! Кто знает, до каких пор эта гадость сожгла бы меня – лишь до пределов тела, или еще дальше – испепелила бы мой дух...

Вот тебе! Получи! Ещё! Ещё!

Мой меч кромсал ядовитую голову на части, словно большой ломоть козьего сыра. Ты знал, что говорил, дед Балор. Ну что ж, воплощайся снова. Только уж сюда тебе путь заказан навеки.

Позади себя я услышал знакомое пение.

Раскройте рты, сорвите уборы:

По всей равнине валяются фоморы!

Огма! Импровизирует, как всегда. Он пел всю битву. Сквозь воздух, полный пыли и ненависти, я постоянно слышал его могучий голос. Все его слышали!

– Эй, Длиннорукий, ты как? А я тут, смотри, какой мечуган оттяпал! Вместе с рукой! Я назову его Разрушитель! Правда, поэтично? – Огма веселится: он всегда так ведёт себя после сражения.

Я уже успел отдышаться...

Поворачиваюсь к нему...

– Огма?!

На туше поверженного фомора вместо рослого плечистого детины смешно выплясывал маленький шуплый старичонка с длинными бесцветными космами вокруг огромной лысины. Старичонка вертел над головой меч, наверное, раза в три тяжелее его самого, и призывно улюлюкал. Не понимая, что произошло, я приблизился к нему.

– Огма, что случилось?!

– Что? А! да ты посмотри, какой я меч!..

– Нет, не то! Огма, что с тобой произошло? Ты же... состарился за одну битву!

Огма перестал плясать и осторожно оглядел себя. Долго, внимательно...



– Наверное... – и голос его тут же старчески задрезжал. – Наверное, пел сегодня слишком много.

Он поднял на меня глаза, и две огромные слезы пронеслись по его морщинистому закопченному лицу.

Я в замешательстве отошёл в сторону и сел рядом с остатками балоровой головы. Я не понимал, зачем всё это произошло? Зачем меня сделали Мастером-на-все-руки? Зачем я исполнил Пророчество? Зачем я вообще связался в эту войну?

Ведь мог же по-другому! Уйти, послать всех куда подальше! Забыть!

Или всё-таки не мог?

«Все мы звенья одной цепи» – вспомнились слова Балора.

... И, наконец, я совсем не понимал, зачем мне все эти почести, вплоть до того, чтобы весь Туат изъявил желание сделать меня сопровителем Нуада Среброрукого?

\* \* \*

– У меня странное предчувствие, – сказал мне однажды Дагда. – Я стал видеть сны, и вряд ли смогу их объяснить. Мне снится, что весь наш Туат несётся по воздуху с мечами наголо, а вместе с нами по земле во весь опор скачут другие люди, которые – я это точно чувствую в своих снах – слабее, гораздо слабее нас. По силе, по возможностям. Но одновременно с этим я понимаю, что, не будь этих людей под нами, не было бы и нас самих. Этакое ощущение обречённости и всемогущества, понимаешь?

– Смутно, – отвечаю я.

– В одних снах мы проносимся сквозь жаркие равнины, полностью усеянные песком, в других – следуем по высокогорным тропам. Переправляемся через реки, плывём по морям: они, люди, внизу, а мы – по воздуху. И я точно понимаю: это люди нас ведут, а не мы их, хоть они на земле, а мы в небе. В других снах мы сталкиваемся с врагами и бьёмся насмерть. Люди сражаются с другими людьми, поразительно похожими на фирболгов, а мы – с теми, кто летит над ними. И эти, наши враги, иногда чем-то напоминают фоморов. И если мы начинаем их побеждать, они становятся всё больше и безобразнее... А потом, когда мы побеждаем, «наши» люди вкапывают в землю деревянные и каменные статуи и приносят нам в жертву вражеский скот и убитых пленников.

– Почитая нас, как мы – Великую Матерь Дану?!

– Вот именно! И я тогда начинаю ощущать, что весь Туат становится в этот момент сильнее, чем прежде... Может быть, мы уже были такими, как я вижу нас во сне. А, может быть, ещё будем. Или и то, и другое.

Потом он добавил:

– Скоро произойдёт что-то очень важное. Должно произойти.

\* \* \*

И – произошло.

Сотни куррахов пристали к южным берегам. Те, кто был послан к ним, возвращались в замешательстве: прибывшие люди вели себя мирно, дружелюбно, однако, какая-то непонятная сила исходила от них. Они общались между собой на незнакомом языке и слыхом не слыхивали о фоморах. Эти люди объяснили нашим посланцам, что их предки были выходцами из глубоких горных ущелий, что за тремя морями, и я поначалу подумал: уж не прислал ли их сюда сам Огненный Бели?

Потом с других берегов стали приходить вести о прибытии таких же куррахов во множестве.

– Что будем делать, Самилданах? – спросил меня Нуад.

– Будем говорить.

Вожди куррахов прибыли к нам. Все предводители и чародеи Туата собрались вместе, чтобы встретить их. Старший из пришельцев положил руку себе на грудь и назвал:

– Мил.

Я закрыл глаза, пытаюсь нащупать его сознание, но меня словно кипятком ошпарило. Стало по-настоящему страшно. Мил ничего не почувствовал. Или сделал вид, что ничего не почувствовал.

Небольшое усилие – и мы начали понимать их язык.

– Зачем вы прибыли сюда? – спросил я чужеземца.

– Нетрудно сказать, – ответил Мил. – Мы хотим здесь жить и править по своим законам.

– И какие же у вас законы?

– Владеть той землёй, на которую мы пришли.

– Это невозможно! – вспыхнул я. – Земля, на которую вы пришли, принадлежит нам.

– Это возможно, – сказал Мил, – если мы победим вас.

– Меч в глотку наглецу – и дело с концом! – угрожающе сжал кулаки Кузнец Гоибниу.

Пришельцы тут же сомкнулись вокруг главного, глаза их нехорошо сверкнули. В руках у их чародея, бородача средних лет с некрасивым лицом, возник плотный огненный шар.

– Амаргин, не надо, – спокойно сказал ему Мил, – они нас не тронут.

Он был уверен в своих словах, и от этого мне стало ещё больше не по себе. Они были массой – все пришельцы до единого. В этом был их дух. Они ценили свою жизнь, насколько это позволяла ситуация. Убей мы этих сейчас, завтра явились бы другие. Не из мести – нет. Просто они не знали, куда еще идти... Идти без оглядки вперёд, и только вперёд, по трупам своих же собратьев – к им самим едва понятной цели. А потом – владеть, править... Жить. Их дух воплощался в самом сильном из них, а когда тот слабел или умирал – переходил на другого. Их сила была не в них и не меж ними: она была везде и нигде. Я понял это тогда достаточно быстро. Чтобы затем быстро решить, что делать дальше.

– Уходите, – сказал я им. – Возвращайтесь к своим судам. Когда отплывёте за девять волн, плывите обратно. Если сможете доплыть и победить нас – наша земля станет вашей.

Мил оскалится какой-то непонятной животной улыбкой, и пришельцы отбыли прочь.

– Что ты делаешь, Луг?! – это был Нуад. – Они же сейчас по всему побережью рассредоточены и слабы: мы же можем их в два счёта...

– Что «в два счёта»? – перебил я его. – Мы не знаем, кто они и откуда. А глаза их ты видел? Это пустые глаза. Они все действуют по какой-то чужой воле, и сами вряд ли понимают, по чьей именно.

– И есть ли она, эта воля? Не придумали ли они её себе? – произнёс Дагда. – Так ведь легче жить.

– Есть ещё одно маленькое «но», – вздохнула Морриган. – Мы не знаем, что для них значит жизнь и смерть. Когда мы убивали фоморов, мы чётко понимали, что они тут же появятся вновь, но в других землях Мироздания и снова могут вступить в войну. Благословенный Бран не может воплотиться заново, потому что продолжает жить глубоко под землёй в своей собственной голове. Фирболги, старея, покидают свои тела и растворяются во всём живом. А нам было достаточно во время битвы силой мысли перенестись в живительный колодец, чтобы вновь оказаться в строю невредимыми и полными сил.

– А если эти люди... хотят умирать, – задумчиво проговорила Бригитта. – Мы ведь не знаем, что с ними происходит, когда раны лишают их крови и сил. Стареют ли они, как фирболги? Возрождаются ли, подобно нам и фоморам? А если нет, то куда они уходят и как скоро могут вернуться?

– Поэтому нам нужно время, – сказал я. – По крайней мере, чтобы собрать весь Туат и приготовиться к битве. Если она, конечно, будет.

\* \* \*

Я прибыл на северное побережье и, незамеченный пришельцами, наблюдал, как они споро собирают свои пожитки и грузятся на куррахи. Прибывали новые суда с других берегов: пришельцы хотели собрать воедино все свои силы; они знали, что вернутся, что битва рано или поздно должна произойти. Жившие поблизости фирболги принесли людям Мила еду и большие куски дубленой просмоленной кожи, на случай, если судно придётся латать прямо в море. Пусть их: старая обида за поражение в первой битве на Равнине Столбов ещё жива в этих смуглых, низкорослых разрированных храбрецах. Пусть их: ещё неизвестно, каким боком выйдет им это дружелюбие к совсем незнакомому народу.

Странно, думал я, ни нам, ни фоморам никогда не были нужны морские суда. Фоморы, как истинные дети Морского Лира, свободно ходят по дну, плавают под водой. Мы же умеем, минуя морские пучины, попасть на любую землю Мироздания, сделав нужное количество шагов в правильном направлении. Правда, многие слышали от фирболгов старинные предания, будто Зеленый Остров

в разное время населяли народы Партолона, а затем Немеда, которые погибали то ли от потопа, то ли от эпидемий. Затем прибыли сами фирболги и, как сами говорят, жили бок о бок с остатками этих далёких и непонятных народов, пока не растворили их в себе. Все эти три волны переселенцев прибывали на кожаных судах, куррахах, маленьких и юрких. Без них ни один из этих людей не смог бы пересечь море.

И вот опять: новые пришельцы и вновь на куррахах. История повторяется – эту землю снова хотят заселить люди, не умеющие преодолевать море без судов. Возможно, это какая-то непонятная закономерность, из которой мы, Туатха Де Дананн, и фоморы, дети Морского Лира,... просто выпадаем!

А, может быть, ни нас, ни фоморов вообще не должно было здесь быть? Может быть, мы сами себя придумали и теперь не знаем, что с этим делать?

– Лир, Морской Хозяин, как ты считаешь, а?

Очередная волна неожиданно с большей силой хлестнула о прибрежную скалу.

– Я не задаюсь такими ненужными вопросами, о Многоискусный, – иронично усмехнулся Лир. – Что ты знаешь о себе? Не более чем весь свой жизненный путь до сего мгновения. Что ты знаешь обо мне? Я – море, просто море. От шторма к штилю, от штиля к шторму – просто море. Я появился, когда должен был появиться, и никому не подчиняюсь. Ничто в Мироздании не может меня уничтожить и тем более сломить. Я был создан, чтобы быть именно таким.

– Значит, и тебя кто-то создал! – крикнул я в морскую бездну.

– Да, – был ответ, – моя Мать, Великая Дану, и мой Отец, Бели Изначальный Огонь. Когда Мать Всего Живого, которая была всегда, и Изначальный Огонь соединились, тогда и появились я и Нуад.

– Нуад?!

– Да, Нуад. Что могла создать Мать Всего Живого в первую очередь, если не Море и Небо. Посмотри вдаль: там, где его синяя гладь переходит в черноту и смыкается с моими волнами – там мы и появились на свет. Те земли, откуда пришёл твой Туат, мы, я и мои дети, называем Небом.

Сыновей Нуада и моих сыновей в один прекрасный день стало слишком много: им нужна была новая земля – эта земля. Поэтому вы рано или поздно должны были схлестнуться – и я не удивляюсь всему, что произошло. Дети Нуада, гордо прозвавшие себя Туатха Де Дананн – как будто бы мои дети не являются такими же потомками Великой Дану, как вы – одержали победу над своим врагом. Но Мироздание тут же поставило их – вас! – перед лицом другого.

– Значит, ты обо всём знал?! Знал, что Мил и его люди приплывут сюда?

– Нуад в своё время был склонен к изобретательству и интересовался всем новым для него. Он подчас забывал, кем является на самом деле, и ненароком мог создать несколько миров. Может быть, все эти люди на судах тоже плод его творения? Я не знаю, да и никто не знает. Нуаду очень быстро наскучивала очередная его затея, и он переходил к другому замыслу. Иногда от этого Мировое Древо трещало по швам. Но ничего, обходилось. Своими действиями Нуад вызывал много сбоев в Мироздании, но эти сбои каким-то непонятным образом влияли друг на друга и давали начало новой жизни. Со временем Нуад стал больше времени проводить среди своих детей и сделался их предводителем, в то же время создавая новых и новых потомков. Я же ничего не изобретал и никаких сбоев не делал. Я просто был, и поэтому я есть такой, каким был изначально. Я видел многих, кто плавал по мне, я давно заприметил этих, последних. Может быть, я сам привёл их сюда. Не находишь это разумным с моей стороны, о, Длиннорукий?

– Зачем? Ты ведь не знаешь, кто они и на что способны.

– Я знаю, что меня они чтят, хоть и лишь потому, что долго находятся в моей власти... Достаточно долго, чтобы понять, кто я такой. А мне не обязательно понимать, кто они на самом деле. Я умею слушать, и я многое слышу. Мыслями и духом они все по другую сторону этого мира, они почему-то отгородили себя от многого, и им неведомо то, что известно нам... А ты знаешь, я помогу им причалить обратно, чтобы они сразились с вами. Если эти люди победят вас и войдут в Мироздание на полных правах, они привнесут сюда свои границы. Меня они уже считают одной из них. Может быть, второй посчитают Небо, и Нуад наконец-то «вспомнит», кто он на самом деле.

– Я понимаю, как ты жаждешь нашей неудачи, – воскликнул я, – но как я могу верить твоим словам?! А вдруг ты лжёшь?

– Не веришь?! – солёные брызги обожгли мне лицо. – Тогда спроси у самой Великой, у моей Матери. Посмотрим, что ты скажешь тогда...

\* \* \*

– Доброй земли тебе, Свет Многоискусный, – маленькая старушка сидела у корней раскидистого дуба и шурилась на солнце.

– Великая?! – опешил я.

– А какой ты меня представлял? – хихикнула она.

Признаться, я никогда не мог представить себе Матерь Дану в человеческом облике: просто не знал, как именно она должна выглядеть. Мы просто всегда приносили жертвы Матери Всего Живого, даже не задумываясь над её обликом. Мы знали, что она везде и во всём, и этого было достаточно.

– Ну, как, удачно поговорил с моим сыном? – спросила она меня.

– Да, Великая.

– Ты сейчас не у алтаря: называй меня просто бабушка Дану. Ведь я прихожусь тебе бабкой. Или нет, прабабкой... Или... Ах, впрочем, какая разница! Я уже сама давно сбилась со счёту, сколько у меня внуков да правнуков. Это ведь и не важно.

– Почему?

– Когда-нибудь сам поймёшь. Ведь в том, что вы появились на свет, не моя заслуга и не ваших родителей. Просто так должно было быть. Может, мы все существовали вечно, но в этих формах проявились только сейчас.

– В формах?..

– Всё проявляется в своих формах. Когда мы с Бели соединились, проявлением нашей любви стал Дракон Сарф, который создал Мировое Древо и дыханием своим дал жизнь Нуаду с Лиром. Черный Дракон всегда был не слишком понятен им обоим, поэтому и Нуад, и Лир, не сговариваясь, стали считать нас с Бели своими Отцом и Матерью. Что, впрочем, не так уж и неправильно. Нуад с Лиром изначально были в Древе, Древо до своего воплощения находилось в Сарфе, а Сарф – во мне и Бели.

– А вы? В чём изначально были вы?

– Вот этого даже мы не знаем, – вздохнула Великая. – Да это и не важно. Я пожелала тебе доброй земли, а ведь земля – тоже я. Когда я понимала, что мне самой следует приобретать новые формы, я делала это, и много времени назад сама плавала к этим берегам. Плавала, внучок, плавала: в этом и заключается всемогущество, когда безо всякого для себя урона можешь приобретать самые ограниченные формы бытия и не чувствовать себя ущербной. В те времена меня называли Кессаир, та Кессаир, про которую до сих пор ходят предания... Стоит ли задумываться над тем, откуда мы все пошли? Важно, что изначально мы были чем-то одним. Поэтому, когда вы схватитесь с этими незнакомыми вам людьми, помни о том, что я сказала. Ведь вы с ними так похожи и где-то тоже являетесь чем-то единым. Делимым и неделимым одновременно. Когда настанет время битвы – бейтесь, когда придёт час мира – замиритесь. Всё идёт своим чередом.

\* \* \*

Морской Лир оказался сильнее наших чар и пригнал куррахи племени Мила через все девять волн обратно к берегу. Мы встретили их на Равнине Столбов и дали бой. Много врагов полегло там...

– Что такое?! – ко мне подскочил Врачеватель, и мы заняли оборону спина к спине. – Я чувствую, как они уходят, но даже не пытаются вернуться обратно.

– Я тоже это чувствую, – очередной удар силы сбил насмерть пятерых противников. Шестого я уложил броском копья. – Но я не понимаю, почему.

Рядом оказался Дагда, нещадно крушивший своей палицей направо и налево.

– Не знаю, что это за место, куда они все уходят, но если так будет продолжаться, то что-то в Мироздании просто лопнет, и всем нам придётся очень туго.

Я это понимал. Мы все это понимали. В воздухе ощущалась необычная дрожь. Не от ударов и во-

плей, не от порывов ветра и всплесков силы. Нет, совершенно другая дрожь, нам, чародеям Туатха Де Дананн, неведомая...

... Пришлось остановить бой и разойтись по своим лагерям. Люди Мила уносили своих убитых и раненых. Мы же, как всегда, ушли невредимыми.

Выставив дозоры, мы совещались всю ночь. Все сидели, притихнув, слушая не столько голоса друг друга, сколько незнакомую дрожь в воздухе.

Что-то должно было сегодня подойти к концу.

А что-то – возыметь своё начало.

Следующим утром на Равнине Столбов я, Нуад и Дагда встретились с Милом и его чародеем Амаргином. Там и произошло то, что многие в Туате до сих пор считают нашим позором. Я же знал, что это неизбежно. Было решено оставить пришельцам землю, а нам самим – уйти. Мироздание открывает живущим свои значимые места только в пору крайней необходимости, и в этом, ручаюсь, самый главный принцип бытия.

Был произнесен Договор, и пожаты руки. И в этот момент в Мироздании что-то сдвинулось, и мне вдруг показалось, что место, вобравшее в себя погибших в битве людей, в одночасье выпустило их на свободу – в остальную часть Мироздания. Внутри внезапно стало как-то легко и беззаботно. Сам себя до сих пор спрашиваю, почему...

Они остались. Мы ушли.

Большинство из нас поселились в полых холмах, направлявших Силу из одних частей Мироздания в другие. Кто-то предпочёл другие земли, позже ставшие частью Верхнего и Нижнего Миров, Преград.

Мы ощущали в себе и вокруг себя странные изменения. Поначалу люди из Туата и люди Мила, поделившие между собой свои новые наделы, нередко собирались вместе, чему-то друг у друга учились. Шло время, новые хозяева нашей земли старились и умирали, возрождаясь – но уже в других обликах – на той же земле, а иногда и на других.

Фирболгов потомки Мила поначалу начали притеснять, но сквозь череду битв и замирений оба народа большей частью принялись смешиваться между собой. Тогда и фирболги перестали растворяться после смерти в Мироздании, начав раз от раза перерождаться подобно своим новым соседям.

Но МакМилы – так мы стали теперь их называть – оказалось, страшатся смерти. Нет, они не гадывались об этом, иначе бы не бросались в бой очертя голову с неприкрытым торсом. Их страх крылся внутри. Сынов Мила стало со временем слишком много, чтобы их скрытый страх не коснулся Мироздания. Так появились Преграды, и Мироздание разделилось на три отдельных Мира. Но Дерево выстояло эти изменения, и жизнь продолжалась.

– Новые поколения приходят в Мир Людей, – сказал мне однажды Дагда. – Мы всё реже захаживаем к ним, и они стали чувствовать нас по-другому.

– Да, – отвечаю, – я слышал, какие среди них небылицы про нас ходят.

– Небылицы небылицами, а я, хоть и чародей, но с каждым годом ощущаю весьма необычный прилив Силы, не зависящий от меня самого. И Сила эта идёт от них. От МакМилов. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день они начнут почитать нас, как мы почитаем Великую...

Так и произошло. Для пятого-шестого поколения Сынов Мила мы были уже не бывшими противниками, уступившими свои земли, а непонятными могучими существами, обитающими... по ту сторону Мира Людей. Теперь часто можно было видеть у подножий наших новых жилищ – полых холмов, откуда мы могли переходить в любой из Миров – алтари и треножки с жертвенными подношениями. И из-за этого мы действительно становились сильнее и могущественнее.

МакМилы стали называть нас Ди, Господами. И мы тоже со временем стали так себя называть.

Истории о вражде с фирболгами и фоморами, рассказанные нами первым поколениям МакМилов, некоторое время спустя стали легендами с изрядной долей вымысла. Даже имея своих чародеев, Сыны Мила ощущали острую необходимость в нашей им помощи. А их чародеи вскоре стали нашими жрецами. Наверное, всему причиной был их скрытый страх смерти. Наверное...

Но стоило кому-то из нас появиться перед ними – дать совет, предупредить или просто, шутки ради, пожуричь за плохой урожай – как слава о могущественных Ди начинала с большей силой крепнуть, как мёд на хорошей закваске.

МакМилы воображали, что мы обитаем везде, поэтому нас стали чтить в лесу, в каменных кругах, на возвышенностях.

Чародеи Туата стали Старшими Ди, остальные – Младшими. Сыны Мила приносили жертвы в основном Старшим Ди, в число которых вошел и я, и однажды мы вдруг поняли, что получили достаточно Силы для того, чтобы суметь в должной мере ответить на людские просьбы. Но не так, как раньше: «– Ди, будь другом, благослови урожай!» «Да, пожалуйста, нет проблем!» – а по-другому, более широко. И не один урожай, а все сразу и за один раз.

Так и повелось. Мы помогали им, они питали нас. Со временем и мы, и они начали осознавать, что существовать друг без друга больше не можем.

Каждый в Туате реагировал на эти события по-разному. Нуада потянуло в свой изначальный облик, и он мог целыми днями разводиться на себе облака, выводить из них причудливые фигуры. МакМилы нередко обращались к нему с просьбами освятить оружие, что он охотно и делал. Иногда они с Огмой любили поразмяться: Огма песнями собирал облака в тучи, а Нуад рубил их мечом, да так, что искры сыпались. Люди, конечно же, эту забаву восприняли по-своему, и перед урожаем просили Небо пролиться дождём на поля.

Диан Хехт Врачеватель и его дочь Аирмид учили людей свойствам трав и различным способам лечения. Гоибниу, Лухта и Крейден стали покровительствовать прикладным ремеслам, и в доме каждого ремесленника-МакМила стоял маленький алтарь одного из них.

Колесницу Мананнана не раз видели среди морских волн рыбаки и путешественники. Те из них, кто ненароком следовал за ней, зачастую попадали По Ту Сторону, откуда потом сердобольный Мананнан возвращал их домой. Позже из-за этого Мананнана стали призывать во время обрядов для открытия Врат, и Морской Ди уже не мог отказать.

Это стало ещё одной особенностью нашего нового бытия: став Ди, мы поняли, что впредь не имеем права отказывать в просьбах тем, кто живет по нашей Правде. Хотя порой люди сами не понимали, чего именно от нас хотят.

Но это уже другая история...

Были среди Сынов Мила и те, кто в первые годы сосуществования перенял у нас обычаи почитать Великую Матерь Дану и Изначальный Огонь Бели. Жители побережья свято чтит Море, и Лир был к ним благосклонен.

Однажды я беседовал с одним из МакМилов второго поколения, и он между словом упомянул:

– Наши предки всегда приносили жертвы Тем, кто над нами, под нами и вокруг нас.

– Кого же ещё чтит ваши предки?

– Духов, каких чтят фирболги, но прежде всего – Великого Духа Леса.

Я не удивился, когда, будучи на Инис Кедирн и разговаривая с Рогатым Охотником Герном, заметил, что тот вдруг начал прислушиваться, а затем произнёс:

– О, я вынужден прерваться: меня зовут.

– А как они тебя называют? – спросил я.

– Великий Дух Леса, – усмехнулся Герн и скрылся из виду. – Странно всё это, – уже издали донёсся его хрипловатый голос.

... Теперь мне часто вспоминался примечательный сон Дагды...

Бригитта общалась с людьми чуть ли не больше всех нас вместе взятых. Здесь роды поможет принять, там вместе с Гоибниу ковать учит, в другом месте детям колыбельную споёт, а жрецов стихосложению грамотному научит. Не мудрено, что МакМилы стали обращаться к ней по самым разным вопросам, да и дочь Дагды не была против, а совсем наоборот.

Морриган и её сёстры Бадба, Нимайн, Фи и Маха запомнились народу Мила в памятной битве, как самые неистовые воительницы, и когда делёж земли и скота доходил до вооружённых стычек, жрецы призывали именно их.

Зелёный Остров Сыны Мила называли сразу тремя женскими именами – Эрин, Банба и Фотла – в честь троих Младших Ди, с которыми ещё у первого поколения людей сложились добрососедские отношения.

В людских рассказах о Ди я неизменно оставался тем, кем был до недавнего времени – главой Туата, хотя в этом ни мне, ни другим Ди не было надобности. Но для МакМилов это почему-то имело большое значение, и я осознал ход их мыслей в тот момент, когда начал понимать, что я и Солнце...



становимся почти что одним целым. Я долго веселился, когда узнал, что люди стали называть древнее светило Оком Луга, а солнечные лучи – Руками Луга. Приходится их не разочаровывать...

Часто меня стала посещать одна мысль: а что если мы все, весь Туатха Де Дананн, изначально были теми, кем являемся сейчас? Я был Солнцем, Мананнан – Хранителем Врат, Огма – Господином поэтов... И не было никаких битв на Равнине Столбов, не было замирения с МакМилами, а все это просто придумали позже. Так, для красоты. Когда превращаешься в нечто большее, редко удается отличить правду прошлую от правды нынешней.

Ибо и то, и другое – правда...

\* \* \*

Так рождалась Воля Ди – отражение Договора.

– Интересно, – сказал однажды Дагда, – мы начинаем преображаться их силой мысли. Я, например, раньше очень многое не мог проделать из того, что творю сейчас. А моя добрейшая жёнушка Боанн запросто поселилась в реке и... стала ею. МакМилы её теперь так и называют – Великая Боанн. Хе-хе! Поразительно, но эти ребята начинают мне нравиться. Иногда я даже воспринимаю их, как своих, э... детей.

Я ничего не ответил. Я чувствовал примерно то же, что и он. И мне это тоже почему-то нравилось.

А по ночам я время от времени стал видеть женщину в синих одеждах, которая держит в руках маленькую деревянную дощечку, и на ней написано:

... «Радость глаз».

Что именно это означает, я пока не понял.

### Примечание

<sup>1</sup> Люди Мила, Сыновья Мила – согласно «Книге Захватов Ирландии», последняя волна миграций на остров с континента. Отождествляются с историческими гойделами.

<sup>2</sup> Фоморы – согласно «Книге Захватов Ирландии», вторая волна миграций на остров с континента. По всем признакам играют в мифологии роль антиподов Богов, тождественны скандинавским турсам и етунам, греческим титанам, индийским ракшасам.

<sup>3</sup> Остров Могущества (валл. – Инис Кедирн) – одно из автохтонных названий Британии, фигурирует в «Мабиногионе».

<sup>4</sup> Туатха Де Дананн (традиц. пер. с ирл. – Племена Богини Дану) – Боги кельтов. Согласно «Книге захватов Ирландии», предпоследняя волна миграций на остров с континента.

<sup>5</sup> Дикая Охота – согласно поверьям многих европейских народов, процесс, происходящий в сакральные праздники, преимущественно в холодное время года, позже – на Вальпургиеву ночь. У кельтов трактовалось как преследование Богами фоморов, пытающихся прорваться в Мир Людей на Самайн.

<sup>6</sup> Ди (ирл.) – «Господа». Так называли представителей Туатха Де.

<sup>7</sup> Младшие Ди – здесь представители Туатха Де Дананн, не ставшие Богами.

<sup>8</sup> Равнина Мертвых – Маг Мор, одна из территорий в потустороннем мире кельтов.

<sup>9</sup> Эмайн-Маха – столица уладской пятины, находится в графстве Арма, Ирландия.

<sup>10</sup> Фирболги (Фир Болг) – согласно «Книге Захватов Ирландии», пятая волна миграций на остров с континента. Отождествляются с докельтским населением Британских островов, потомков которых кельты называли «круитни», а римляне – «пикты».

<sup>11</sup> Котел Дагды – одна из Четырех Святынь Ирландии; в принципе, дает все, что нужно: от еды до грядущих знаний. Остальными считаются Копье Луга, Меч Нуада и Камень Судьбы (Лиа Фаль).

<sup>12</sup> Имеются в виду Тауэрский холм в Лондоне и река Темза.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА



*Родилась в Минске (Белоруссия). Проживает в Кишинёве. Ученица 11 «А» класса лицея им. А.Руссо. Окончила с отличием школу искусств им. В.Полякова. Ученица Русского интеллектуального центра РМ. Принимала участие в XIII открытой московской конференции «Языкознание для всех» (2009 г.), тема которой «Язык и норма». Представила своё исследование «Языковые механизмы создания комического эффекта в пародиях Юрия Харламова» и заняла первое место.*

## ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПАРОДИЯХ ЮРИЯ ХАРЛАМОВА

*...страдает наш язык.*

*А чтоб правдивый и могучий  
По-прежнему великим был,  
Друзья, умерьте графопыл.*  
Ю.Харламов

Поэтов, пишущих на русском, в Молдавии не так уж мало, как может показаться на первый взгляд. Многие из них заставляют нас гордиться тем, что мы говорим на русском языке, однако и графоманов, коверкающих великий и могучий русский язык, увы, хватает. В Молдавии борцом за чистоту русского языка является Юрий Харламов – создатель серьёзных книг, весёлых шаржей, пародий и эпиграмм, за которыми выявляется «беспокойство до боли русского поэта и прозаика за литературное слово, чистоту речи и поэтическое мастерство, то есть гармонию человеческих душ и слова».

Язык, по мнению Юрия Петровича, – бесценное богатство человека, дарованное ему свыше, и каждый должен нести ответственность за его красоту и величие. Пародист не хочет оскорблять авторов, ущемлять их поэтической свободы, однако он помнит о возложенной на себя миссии: сохранить язык.

**В основе** данного исследования идеи, освещённые в работе Г.Ш.Кязимова «Теория комического. Проблемы языковых средств и приёмов».

**Предметом** исследования являются языковые механизмы создания комического эффекта, приёмы и средства его создания.

**Объектом** данного исследования являются пародии, высмеивающие отклонения от языковой нормы, из сборников Ю.П. Харламова «Незрелая зрелость» (1996), «Парнаса зеркало кривое» (2000), «Словом по словам» (2003), «Мысли вскачь» (2006), «Смех без границ» (2007).

**Цель работы – исследовать особенности языковых механизмов создания Ю. Харламовым комического эффекта в пародиях, которые критикуют нарушения современными авторами языковой нормы.**

Юрий Харламов в своих пародиях, критикующих нарушение языковой нормы, достигает комического эффекта, используя приёмы, действие которых было бы невозможно без помощи определённых средств.

Например, не могли оставить равнодушным Юрия Петровича следующие строки поэта О.Юзифовича:

*Дочки как ромашки.  
На столе пылятся разукрашки.  
Милые букашки.  
... Девчѐнки.*

О. Юзифович

В отрывке наблюдаются следующие отклонения от нормы:

1. Употребление просторечия **«разукрашки»**, нехарактерное для поэзии. Правильная форма этого слова – **«раскраски»**. Но над этим не стал бы смеяться пародист, не будь второго, грубого нарушения.

2. Отклонение от орфографической нормы. Допущена ошибка в слове **«девчонки»**. Буква **«ё»** недопустима после **«ч»** в суффиксе существительного.

Пародия написана такая:

### СТАРАШКА

На столе в пустом **стакашке**  
Спят увядшие ромашки  
(Назиданье, крик души).  
Две **трудяшки разукрашки**  
Тут рисуют для **папашки**,  
Мучая карандаши.  
Как растрогался **папашка!**  
– Вас, **маляшки-рисовашки**,  
Вас, **сестряшки-дочеряшки**,  
**Бяшки**, пташки и букашки,  
**Стрекозяшки**, таракашки,  
Чебурашки, барабашки,  
Я люблю сильнее всего.

– Вам, **девчашки-аккурашки**,  
**Невелишки, ясноглашки**,  
**Причесашки, напудряшки**,  
**Улыбашки** и **смеяшки**,  
Дар таланта моего.  
А жена: – Пстой, **лебяшка**,  
Что ж ты дочек **обозвашкал?**  
Прояви-ка **однознашко**  
Дарование свое.  
И поэт, пером пощёлкав,  
Все стихи свои почёркал,  
Исправляя на **«девчѐнки»**,  
Но **«девчѐнки»** через **«Ё»**.

Ещё не приступив к чтению пародии, читатель обращает внимание на комичное название, подкреплённое авторской иронией: **«Старашка»**. Этот неологизм необходим, чтобы было понятно, как *перестарался* поэт О.Юзифович. И, подчеркивая его излишнее рвение, пародист использует технику гиперболизации. Этот приём достигает комического эффекта при помощи целого ряда просторечных неологизмов: старашка; в стакашке; трудяшки; маляшки; рисовашки; сестряшки; дочеряшки; бяшки; стрекозяшки; девчашки; аккурашки; невелишки; ясноглашки; причесашки; напудряшки; улыбашки; смеяшки; любяшка; обозвашкал; однознашко.

Другим языковым механизмом создания комического эффекта в этой пародии является контрадикторный приём, который включает в себя комический контраст, подкреплённый авторской иронией. Эффект обманутого ожидания заключается в том, что поэт должен был проявить «дарование своё», но допустил глупую ошибку. Поэт О.Юзифович любит своих дочек, однако он должен заботиться о том, чтобы привить им языковой вкус. Именно в связи с этим пародист Ю. Харламов, человек, желающий сохранить красоту и чистоту русского языка, вырастить новое поколение грамотным, бьёт своим поэтическим «словом по словам» поэта Ю. Юзифовича, пренебрежительно называя его «папашкой».

Во втором пародируемом стихотворении этого поэта есть такие строки:

*Отчизны для,.. народа для,..  
Бога ради.*

О. Юзифович

Здесь наблюдается нарушение синтаксической нормы, используется инверсия. Автор употребляет: «**Отчизны для**» вместо «**для отчизны**», «**народа для**» вместо «**для народа**». Но это, возможно, простили бы поэту, не помести он в этот ряд эквивалентных единиц еще одно составляющее: «*Бога ради*», несоотносимое по смыслу с предыдущими. Автор, используя инверсию в выражениях «**отчизны для**», «**народа для**», делает это преднамеренно, для того чтобы показать, что *Бог, отчизна и народ* стоят у него в одном ряду. И Юрий Харламов пишет пародию на эти стихи:

### СТИЛИСТ

Шел я как-то **парку по**,  
Направлялся **школу в**.  
Был на выдумки скупой,  
Не любил приколов.  
Только вдруг **забавы для**,  
Чаяния паче  
Рифма, мысли шевеля,  
Предрекла удачу.  
Стал стихи писать **тех пор с**  
**Не корысти из-за,**

**Бил каноны, смел и борз,**  
**Бросил догмам вызов.**  
Стал писать **Отчизны для**,  
Даже **Бога ради**.  
А читатели-то, глядь,  
Лишь смеяться рады.  
Я устал, **ответов от**  
**Душу обессилив:**  
– Знайте все – поэт живет  
Только **новом стиле в**.

Для создания комического эффекта в этой пародии автор использует свои излюбленные приёмы:

1) Комичное название «Стилист», подкреплённое авторской иронией (вспоминается «кулинар!» из известного фильма).

2) Техника гиперболизации, основанная на многократном нарушении синтаксической нормы. Примеры инверсии: парк по; школу в; забавы для; тех пор с; не корысти из-за; ответов от.

3) Авторская ирония.

Автор следующего стихотворения решил выделиться ещё ярче:

*Если хочешь жить **харчово**,  
На планиду не пеняй.  
Если площадь **кумачова**,*

*Значит праздник Первомай.  
...Те места, где о харчах...  
...Первоклассная **шамовка**...*

*С. Чернолёв*

Поэт задался целью говорить на языке, приближенном к тому, на котором говорят на улицах. Не станем рассуждать о бессмысленности приведенных строк, что связано и с тем, что автор не знает элементарных норм языка. Об этом свидетельствуют следующие отклонения от языковой нормы:

1. Неологизм: «**харчово**».

2. Отклонение от морфологической нормы: «**кумачова**» вместо «**кумачовая**». Прилагательное кумачовая – это относительное прилагательное, не имеющее краткой формы.

3. Жаргонизм «**шамовка**».

Юрия Харламова такие строки не могут не тревожить. Пошлость, считает пародист, достойна осуждения и порицания. И вот его ответ поэту С. Чернолёву:

### ДУХОВНАЯ ХАВКА

Нынче жизнь не **кумачова**.  
На дворе другая власть.  
Кто желает жить **харчово**,  
Про **шамовку** пишет всласть.  
Дело не в литературе –  
Не играет роли лесь:  
Поэтической натуре  
Тоже хочется поесть.

Вот и сочиняет **клёво**,  
Что меня бросает в жар.  
Видно, дали Чернолёву  
За **шамовку** гонорар.  
А сидящая на лавке  
**Бомжеватая** братва  
Мыслит: – Стоящая **хавка**  
Та духовная **жратва!**

Остроумие пародиста прекрасно находит своё подтверждение в ироническом названии пародии: «Духовная хавка». Всем известную метафору «духовная пища» автор заменяет на выражение «ду-

ховная хавка». Тем самым использует контрадикторный приём, основанный на противоречии, вызванном изменением стилистического ранга одного из составляющих («пища» на жаргонизм «хавка»). В конце пародии эффект усиливается с помощью синонима-жаргонизма «жратва». Происходит мнимое объединение разнородных явлений: «духовная» – и «хавка», «жратва». Метафора, да уже не та! Средств комического только в одном этом случае несколько: и явно контрадикторные эпитет и метафора, и получившийся в результате совмещения несовместимого оксюморон. Проанализировав языковой портрет автора пародируемого стихотворения, Юрий Петрович не мог удержаться от употребления жаргонизмов в стиле поэта (средства): клево, бомжеватая, хавка, жратва.

Юрий Харламов, безусловно, не остался равнодушным к словотворчеству А. Фоминского и написал пародию.

### НУ, НАЧУДИЛ!

Ему не в радость монотонность  
Избитых слов, истёртых рифм.  
Решил он **лунную лимонность**  
Влить в стихотворный алгоритм.  
Слил **звёзд мерцающую странность,**  
**Синюшной облачности гнёт,**  
**Утра молочную туманность,**  
Что над землистой встает.  
Развёл **цветочную горчичность**  
Кровавым выплеском зари,

Дал **солнца жаркую яичность,**  
**Росы промозглость** – грамма три.  
Когда же **туч седую пенность**  
Стал капать, замерла рука:  
Энергетическая ценность  
Продукта больно велика!  
И побледнел поэт Фоминский,  
И, выпив дьявольский коктейль,  
Вдруг от натуги исполинской  
Устало рухнул на постель.

Конечно же, читателя не может оставить равнодушным остроумие пародиста. Одно ироническое название пародии: «**Ну, начудил!**» уже вызывает улыбку. Техника гиперболизации в этой пародии заключается в использовании неологизма автора «**лимонность**», в создании множества своих слов по аналогии и использовании эпитетов и метафор в стиле автора:

1. **Неологизмы:** горчичность, яичность, пенность.

2. **Эпитеты и метафоры:** звёзд мерцающую странность; синюшной облачности гнёт; утра молочную туманность; цветочную горчичность; солнца жаркую яичность; росы промозглость; туч седую пенность.

Вера Режинская, кишинёвская поэтесса, совсем запуталась в своих мыслях:

*Зачем тебе запрета пить вино?*

*Не роняй своих **слезёнок**.*

*Твоя обитель для меня **острога**.*

*Лебедь **однокрылая**.*

*Из серости быта к нам сказка пришла.*

*Косым лучом снега **коснул**.*

Во-первых, даже неискушённому читателю бросаются в глаза отклонения от орфографической нормы. Поэтесса употребляет «**слезёнок**» вместо «**слезинок**», «**коснул**» вместо «**коснулся**». Во-вторых, автор допускает морфологическую ошибку, меняющую смысл строчки. Поэтесса В.Режинская, употребляя слово «**острога**», имела в виду «**острог**».

Пародия Юрия Харламова выглядит достаточно гневной, но справедливой:

### ЗАПРЕТА НА ПОЭТА

Стихи писать вам не дано –  
Напрасно не взывайте к Богу:  
Коль есть **запрета** на вино,  
То и за ляпы путь в **острогу**.  
Раз дарит сказки серый быт,  
Молчит испуганный ребёнок,  
И каждый шаг его омыт  
Соленым ручейком **слезёнок**.

Чтоб матом вас фанат не крыл,  
Пишите более **ликвидно**.  
Но если лебедь **однокрыл**,  
То и рифмовки **инвалидны**.  
А значит, прозой слова,  
А не поэзией, **косните**.  
Тогда фанатов станет два:  
И пародист, и едкий критик.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев языковые механизмы пародий Ю.П.Харламова, согласимся с исследователем С.П. Прокоп, которая сравнивает его творчество «с поединком Дон Кихота с ветряными мельницами». Нужно мужество, чтобы воевать с графоманством, невежеством и мракобесием. Поэтому **борец за чистоту языка** Ю.П.Харламов достоин уважения. А возвращаясь к эпиграфу, хочется обратиться к поэтам-графоманам: Можешь не писать – не пиши! Не можешь писать – не пиши! Ю.П.Харламов по этому поводу говорит так: «Когда что-либо читаю, меня невольно «цепляет» отклонение от нормы. Мои принципы – «не вреди» и «будь честен к истине». Не люблю обижать авторов. Но иной раз хочется их наказать – за издевательство над языком. За чистоту родного слова нужно бороться. Оно нуждается в защите». К сожалению, тяга к окказиональному словообразованию, созданию бессмысленных метафор, эпитетов и сравнений в погоне за неизбитым и оригинальным стихотворчеством характерна для поэтов нашего времени. Двусмысленность, выбор неправильных терминов, различного рода отклонения от языковых норм никого не могут оставить равнодушным – не только пародиста, но каждого человека, любящего свой родной язык.

Проанализировав язык пародий Ю.П.Харламова, мы можем утверждать, что критик очень умело «высмеивает» отклонения от нормы. Автор достигает комического эффекта при помощи разнообразных механизмов его создания. Излюбленным приёмом создания комического эффекта для пародиста является **техника гиперболизации**. Этот прием «работает» почти в каждой из его пародий, направленных на осмеяние нарушений норм языка. Если пародируемый поэт допускает отклонение от языковой нормы в одном или нескольких словах, фразах, Юрий Петрович преувеличивает это в несколько раз, допуская ошибки по аналогии, тем самым подчёркивая, усиливая безграмотность автора.

**Иронические названия** также способствуют усилению комического эффекта. У читателя ещё до знакомства с пародией возникает эффект ожидания смешного.

Во многих пародиях Ю.П.Харламов использует **окказиональное словообразование**. Это объясняется тем, что и в отрывках, выбранных критиком для пародирования, очень много нелепых авторских неологизмов. Окказиональное словообразование во многих случаях сосуществует вместе с гиперболизацией, тогда комический эффект усиливается во много раз.

**Авторская ирония** проявляется во всех пародиях. Без этого приёма невозможно достижение комического эффекта, а следовательно, и существование такого жанра, как пародия. Другие приёмы пародиста, при помощи которых Юрий Харламов достигает комического эффекта:

- контрадикторный приём, основанный на противоречии одной ситуации другой, который включает в себя комический контраст;
- эффект неожиданности, обыгранный авторской иронией;
- лексико-семантический неоднозначный приём, основанный на полисемии (языковой многозначности), обыгрывание (с эффектом неожиданности). И многие его приёмы создания комического эффекта, естественно, нуждаются в средствах. Это неологизмы, жаргонизмы, просторечия, эпитеты и метафоры и др.

Исследование механизмов создания комического эффекта в пародиях, направленных на нарушение языковой нормы, надеемся, будет полезно лингвистам, изучающим теорию комического, начинающим поэтам, пробующим перо, а также заставит не только поэтов задуматься о необходимости сохранения чистоты русского слова в Молдавии.

Как важно понять, что «мир выжил, потому что смеялся».

Настоящая работа помогла осознать, что смех пародиста направлен не только на поэтов-графоманов, коверкающих русский язык. Возможность посмеяться и над самими собой, предоставленная нам Ю.П.Харламовым, заставит нас бережно обращаться с родным языком, совершенствовать свою речь, сохранять богатство, яркость и образность русского Слова. Мы в начале пути исследования языка пародий Ю.П.Харламова. В перспективе хотелось бы обратиться к психолингвистическому рассмотрению языковых механизмов создания комического эффекта в его произведениях. Людям, способных говорить и писать по-русски смешно, не так много. Это наше достояние, поэтому их язык заслуживает более внимательного изучения.



Юрий ХАРЛАМОВ

**ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ**

(Юмореска)

До свадьбы все они одинаковы. А после неё женщины начинают играть особенные роли, стараясь наверстать упущенные возможности. Еврейская женщина становится путёвкой в страну по имени Мечта, китайская – стратегическим ресурсом всеобщей глобализации. Немецкая женщина превращается в политика, англичанка – в королеву, в бизнес-вумен – понятно кто. И лишь наша совмещает всё на свете: и рождает, и лечит, и кормит, и управляет, и трудится. А если нужно, то она и в горящую избу, и коня на скаку... Были случаи. К счастью, таких подвигов давно не требуется. Но и без того спрос на наших женщин очень высок.

Потому иностранцы и рванули к нам – выбирать спутниц жизни. Немцам надоели политики – супчика свеженького захотелось. Англичане решили в каждой семье иметь по королеве. Всем американцам засвербело стать бизнесменами, пока прибыльные места не расхватали бизнес-вумены. Французы решили, что на свои модели можно только смотреть, а уж любить – так только наших.

Наивные иностранцы думают, что они только сейчас рассмотрели универсальность наших женщин. Жалкие двоечники! Так знайте же, что наши ходили и в королевах Франции, и в императрицах Таиланда, правили Османской империей, были жёнами импортных генсеков и президентов. Великий Дали рисовал многих, а любил одну – только нашу Галу. Да что великие! Один негр по любви стал колхозником в снежной Сибири!

Вот иностранцы и ищут жён у нас, отлавливают наших у себя, засоряют Интернет своими фотками – может, кто-то и клюнет. Наши мальчики быстро среагировали на пожелания просвещённого мира и подрядились отправлять своих женщин за рубеж партиями – правда, за деньги. Депутаты спохватились и настругали законов о запрете торговли женщинами. Те же, догадываясь, что их ждёт, всё же едут в надежде получить статус жён в обмен на подъём благосостояния зарубежных мужиков и их стран. Возвращаются, правда, по отдельности, с трудом, через посольства. И в количестве, превышающем число уехавших.

Ну, а наши-то мужики что? А что наши? Продолжают кипеть страстями по поводу выборов, президентских вояжей, завидовать господам Абрамову и Абрамовичу, гадать, упадут ли доллар и евро, станет ли «Спартак» чемпионом и когда же появится суперсовременная автомодель «БМВока». Всё это они принимают близко к сердцу и, вздыхая, помаленьку спиваются, не обращая внимания на своих женщин.

А зря. Те же продолжают уезжать, забирая с собой дочек. И темпы так растут, что даже ново-брачная Алсу засомневалась – может, надо было всё-таки за Шумахера? Говорят, подкатывался...

Так что, мужики, пока не поздно, последней каплей водки протрите глаза и оглядитесь вокруг – может, кого и отыщете. А найдёте – не упускайте за рубеж хотя бы из чувства национальной гордости.

В общем, шерше ля фам. Но только свою.

**ПАРОДИИ****ЯРМО НА ШЕЕ**

*Каждого, кто голову имеет,  
Убеждает множество примет,  
Что она – ярмо на нашей шее,  
А ума в ней не было и нет...  
Без неё, без вздорнейшей детали  
Мы б зажили с вами без хлопот...*

**Виктор Горшков**

Совершенно правильно и ясно  
Возвестил о голове поэт.  
Но ярмом назвал её напрасно:

Нет ума – и массы тоже нет.  
 Лишь болванка для примерки шляпы,  
 Тумба для причёски «ирокез»,  
 Вешалка в примерочной хотя бы...  
 В общем, малозначащий протез.  
 Я с Горшковым полностью согласен –  
 Вздорнейшая, стало быть, деталь.  
 Только вот один вопрос неясен –  
 Чем же он об этом написал?

### МОЛЬБА О ЛЮБВИ ПО-ОЛЕНЬИ

*Ты закрылась от меня  
 Шторкою душевной...  
 Ну, откройся, будь простой!  
 В красоте величье!  
 Я стучусь к тебе домой  
 Крыльями – по-птичь.*

**Александр Фатеев**

Ты закрылась от меня  
 Дверкою стальнойю.  
 Свой ревнивый нрав кляня,  
 Я под дверкой ною:  
 - Ты прости меня. Постой,  
 Что ж ты рассердилась?  
 Ну, откройся, будь простой,  
 Гнев смени на милость.  
 Все измены я прощу,  
 Всех твоих партнёров.  
 Я любви твоей ищу,  
 Нежных разговоров.  
 Уповаю на твою  
 Красоту величья.  
 Потому и в дверку бью  
 Крыльями – по-птичь.  
 - Я тебя, бескрылый мой,  
 Знаю с потрохами.  
 Постучи ко мне домой  
 Как олень – рогами.

### ЛЮБОВЬ СО СЛЕЗАМИ

*Влюбилась в отраженье тени  
 На глади старого пруда.*

**Любовь Малкова**

Ну, вот теперь и я в смятенье –  
 Пришла сердечная «беда»:  
 Влюбилась в отраженье тени  
 На глади старого пруда.  
 Другие счастливы прилюдно,  
 Целуясь даже на бегу.  
 А я и в праздники, и в будни  
 Одна сию на берегу.  
 Грущу, завидуя подругам

И одиночество кляня.  
 Лишь участковый ходит кругом,  
 С опаской глядя на меня.  
 Грущу, как дева перед свадьбой,  
 Лью слёзы в каждую строку.  
 Тут мне любимого обнять бы,  
 Так нет – я плавать не могу!

### НЕМОЩЬ

*Я никогда не рожу слона,  
 Хотя беременна слишком давно...  
 Я никогда не снесу яйцо,  
 Хотя мой милый крылат, как  
 птица...  
 Мне говорят, я в душе ослица.*

**Александра Перерва**

И за что же мне немощ дана?  
 От стыда уже прячу лицо:  
 Никогда не рожу я слона,  
 Никогда не снесу я яйцо.  
 Хотя беременна слишком давно, -  
 Всё нормально, - врачи говорят.  
 Но тоскливо в душе всё равно,  
 Издевается милого взгляд.  
 Может, мне крокодила родить  
 Или просто стихи написать?  
 Я – ослица, мне монстров плодить  
 Будет легче, чем слово сказать.

### ЦИЛИКОЗНЕННАЯ ЛИРИКА

*Выплакать скисшее,  
 Вышептать вешнее,  
 Высмеять высшее...  
 Выписать полосы  
 букв измятые...*

**Ира Цилик**

Выплакать скисшее,  
 Вырыдать брэнное,  
 Высмеять высшее,  
 Выругать ценное.  
 Выстрадать новое,  
 Выпросить сильное,  
 Выносить клёвое,  
 Выродить стильное.  
 Выкинуть муковы,  
 Выслушать шорохи,  
 Выписать буковы,  
 Выстроить стороки.  
 Коль стилизованно  
 Думать разрозненно,  
 Выйдет ИРОванно  
 И ЦИЛИКОзненно.

## Виктория ЧЕМБАРЦЕВА



*Родилась 22 сентября 1973 года в Кишинёве. Этническая гречанка. В 2000 году окончила Молдавскую Экономическую академию, факультет маркетинга, в 2008-м – факультет психологии при Институте непрерывного образования. Начала пробовать себя в стихотворчестве в 2006 году.*

\* \* \*

Мне до тебя так бесконечно далеко:  
не добежать, не долететь, не прикоснуться.  
И лишь во снах нам встретиться легко,  
дыша друг другом, не боясь проснуться.

И в гулком эхо телефонного звонка,  
и в этих грустных расставаниях без встречи,  
я всё ищу тебя издалека  
в чужих словах, не мне дарящих вечность.

Из кем-то брошенных давно когда-то фраз  
я научусь углём писать твои портреты.  
Ночные тени сложатся за нас  
в несыгранные по ролям сюжеты...

\* \* \*

Может когда-нибудь хрупким фарфоровым утром,  
в необъяснимости замерших звуков природы  
всплеском весла потревожатся тихие воды,  
лопнет струна ожидания в предчувствии смутном...

Может когда-нибудь, истосковавшись по ласкам,  
из одиночных скитаний в квадрате картины  
угол холста обозначит забытое имя –  
я прорисую твой образ античностью красок...

Может когда-то в оливковых рощах Эллады  
мраморной глыбы кусок оживёт под руками.  
Мастер-создатель, вдохнувший изящество в камень –  
ты изваяешь меня грациозной наядой...

Может, рассыпав по линиям чётким значками –  
нотами-бусин на белых листах партитуры,  
старый скрипач бородатый с седой шевелюрой  
тонким смычком проиграет мелодию нами...

Может когда-нибудь, все нарушая границы,  
пересечёмся с тобою в различных эпохах  
и, потерявшись в словах, междометиях, вдохах,  
просто позволим тому, что означено сбыться...

## ПОД БЛЮЗ ДОЖДЯ

Мне снова снится блюз дождя...  
В противоречие сюжету,  
чуть задержав в антракте лето,  
неизъяснимая тоска  
ласкает ночь слепым закатом,  
и грома дальнего раскаты  
уносят в осень облака...

Десерт, что съеден на двоих,  
горчит ванильным послевкусьем,  
но нераспробованны чувства...  
Под нерифмующийся стих,  
сбивая ритм дыхания в терпкость,  
вся нерастраченная нежность  
срывается в неслышный крик...

Неспешный шаг в забытый рай,  
где робость спутанных желаний  
до дрожи нервов от касаний.  
Моей руки не отпускай,  
глазами сердца в душу глядя,  
того, что будет, Бога ради,  
не забывай... не предавай...

Мне снова снится блюз дождя...  
Вскрывает ветер бритвой нервы,  
и каждый новый день как первый  
в непостижимости тебя...

## ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ВЕСНЫ

Ещё коростой вмерзший в крыши снег...  
Чернеет пустотой гнездо сорочье...  
Но отдаёт слегка дубовой бочкой  
уже вино из кружки на огне...

Меж рамами застыл крылатый прах  
нашедшей свой приют осенней мухи...  
А пред Крещенской службою старухи  
судачат что-то о чужих грехах...

По снегу пеплом в томности лучей  
слепое солнце тянет длинно тени,  
но слышится весны предощущенье  
в обледенелом шёпоте ветвей...

## МЕЖСЕЗОНЬЕ

Весну уже недолго умолять:  
«дождливой акварели для отмывки  
и ветра, расплетающего нитки  
лучистых дней из пряжи февраля»...

Состаренною бронзой бьют часы,  
слегка встревожив пыльность фортепьяно...  
Вивальди... «Шардоне» с кислинкой пряной  
в бокале тонконогом... На весы

саднящих прошлым въевшихся потерь,  
для уравниенья колебаний чаши -  
(и то и это – неразрывно наше)  
объёмный клок из ватного «теперь»...

Чернильной кляксой стаи воронья  
на омуте линяющего неба,  
нечёткий абрис тающего следа –  
свидетельства сезонного вранья.

А под зонтом ссутулившись, душа,  
продрогшая от степени сомнений,  
в пространстве временных несовпадений  
бредёт по межсезонью не спеша...

## Из цикла ВРЕМЯ ЧУВСТВ

### ИЛЛЮЗИЯ НЕСЛУЧАЙНОСТЕЙ

Войти в чужую жизнь случайной кошкой  
по классикам нескрипнувших паркетин.  
Спуститься тенью с пыли потолочной  
от паутиной отделившись лени...  
Смотреть бумажным ангелом открыток  
немодных и в поблекшей позолоте...  
Не отражать заспинности улыбок,  
и в каждодневной не искать заботе  
своих следов. И в радости при встрече,  
и в скомканных привычках расставаний  
не быть рукой, опущенной на плечи,  
ни слухом в ожидании признаний...  
Не спрашивать о планах и началах...  
Не изнывать от страха: «что потом?»  
Войти случайно... и остаться в малом –  
единственным подобранным ключом  
к чужому миру двери отворивши:  
пролиться летним щебетаньем птиц...  
и взвесью солнечной летящих листьев...  
и образом с исписанных страниц...  
и заунывным дребезжаньем стёкол

под зимним натиском колючих звёзд...  
и мотыльком, заснувшим на осколках  
горчащих льдин давно застывших слёз...  
степной волной под ветром... майским маком...  
ладонями прижатыми к земле...  
и стрекозой, врисованною лаком  
на изумрудно-палевом крыле...  
За чутким сном под органзою утра  
и влажностью чуть приоткрытых губ,  
сомнением в замешательстве минутном  
в предощущении, что где-то ждут -  
войти в чужую жизнь случайной кошкой...  
Не изменив реальности никак,  
пройти по краю счастья осторожно,  
оставив след, исчезнуть, как пустяк...

### СНЫ ВРЕМЕНИ

уснуло время, с чистого листа  
пересыпаясь бусинами в руки...  
остались только запахи и звуки,  
стекающие каплями в цвета...

мельканье тонких крыльев стрекозы -  
лилово-изумрудный плач скрипичный.  
тягучий альт – шафран с пыльцой коричной,  
слеза на срезе молодой лозы.

виолончельным мёдом янтаря  
лучист витой фонарь в предзвездном парке.  
дождливым серебром струится арфа  
в холодные ладони января.

орган в соборном сумраке густом,  
как синий бархат стелется под своды.  
а звуком флейты в ледяные воды  
падёт жасмин последним лепестком...

### НА ГЛУБИНЕ ВРЕМЕНИ

Тогда с кольца серебряная птица  
забьется точкою в канве небес...  
сырой мукóй состарится пшеница,  
и ветви к западу протянет лес...  
тогда изнанка листьев станет красной,  
замешанной на слёзном молоке...  
истерзанные дни трёхкрылый ястреб  
склюёт по зёрнам в золотой золе...  
паучья нить как пух укроет пальцы...  
анисовый туман придавит грудь...  
по лентам ветра души-постояльцы  
сквозь мотыльковый взгляд проложат путь...

ТОГДА!..

падение сна в глазах открытых  
наполнит бездну в глубине зрачков...  
сочащейся росой на сталактитах  
пророчества сойдут из вязи слов...

и ты войдёшь!

до глубины звенящей!

до среза острого на волоске!

как вдох для выдоха!

нездешним счастьем!

прикосновеньем губ к моей тоске...

### Из цикла МУЗА СКРИПЯЩИХ ПЕРЬЕВ

#### ПИСЬМО ПОЭТУ

Вы, сударь, очинили перья-ль!?.  
Намедни приходила Вас проведать,  
но не застала и застыла у тетради,  
той, что раскрытыми листами призывала  
себя прочесть. И я её листала...  
Листала и вдыхала Ваши фразы  
и Вашего пера движенья в мысли...  
И слёзы на ресницах длинных висли...  
И так отчаянно хотелось быть словами  
и буквами, написанными Вами...  
Ах, сударь, перья очините!  
Я к Вам приду ещё, а Вы - пишете!

#### НА ПИСЬМО ПОЭТА

Ах, милый сударь, я к Вам приходила.  
Закрыты ставни были допоздна,  
а с вечера сквозь них свеча светила  
и слышались чужие голоса...  
Я полагала, Вы всему довольны!  
Не видимся... Ну что же – полоса...  
Сегодня дождь... И ветры в колокольне  
трепещут... А за городом гроза...  
И снова я неслышными шагами  
по узкой улочке иду в квартал.  
Вы, сударь, дома ли? Меня Вы звали?  
Мне важно знать, когда бы кто-то ждал!..  
Под низкой аркой к каменным ступеням  
в промокшем платье снова к Вам иду...  
А, помните, как прежде на коленях  
Вы умоляли изменить судьбу!?  
Мои губами согревали руки,  
и в поцелуях терпкое вино  
казалось заклинателем разлуки!..  
Ах, Боже мой, неужто так давно

мечталось Вам уехать за границу  
и там писать чудесные стихи!..  
Всё так же ли Венеция Вам снится?  
Всё так же ли для милой чепухи  
в словах моих у Вас свободны уши?  
Всё так же ль Вы меня хотите слушать?..  
Ах, сударь милый, Вашего письма  
сегодня я никак не ожидала...  
А лёгкость в ощущение бытия  
меня уже давно не посещала.  
Из редких встреч и длительных разлук  
нам остаётся выбрать вдохновенье!..  
Ах, сударь, я пришла... Вам слышен стук?!  
Вы очинили ль перья для творенья?!..

## КАК ТРУДНО БЫТЬ...

*все мы по сути своей одинокие боги...*

Слово создавший и тенью отметивший свет,  
альфу с омегой единством назвавший в истоках,  
переписавший по-новому старый завет,  
Сыном отдавший себя, воплощённый в пророках.

Ты, отпустивший из рая любовь, и печаль  
сделавший реверсом всем, испытавшим  
блаженство.

Самый возможный из всех изначальных начал,  
непостижимый величиями совершенства.

Слёзы утёрший рукою... Порою ты сам  
их проливаешь, уставши от непониманья  
опустошающих духом воздвигнутый храм,  
тех, что по образу созданы из состраданья...

Сколько песчинок по свету в небесных лучах  
движутся чистой дорогой твоих отражений, -  
столько заблудших, в незримых неверья стенáх  
самовоздвигнутых, бьются в тенетах сомнений.

Ты не хотел!.. Ты продумывал всё в мелочах!..  
«Как же услышанным быть, если замкнуты  
уши!?» – ты вопрошаешь. Но тщетно... Их души молчат.  
Несозидавшим, им проще, наверное, рушить.

Вновь рассыпаешь на землю меж плевел зерно  
пылью сквозь пальцы... В своих поднебесных  
чертогах  
от одиночества дышится так нелегко  
сути всего... и: «о Боже, как трудно быть богом!»

\* \* \*

так приближается шёпот зеркальных дорог.  
звёзды земные на стеблях качает цикорий.  
в камне зелёном уснуло Эгейское море.  
так, ожиданьем шагов, замирает порог.

так, дуновением в листьях рождается звук.  
белый песок меж волокнами чёрной бейсболки...  
берег... смолистые слёзы сосновой иголки...  
запах вчерашнего лета меж пальцами рук.

так, океаном, сбывается стаявший снег.  
тени крыла вызывают затмение солнца.  
млечной тропинки мерцание в затхлом колодце –  
зов в неизвестность за тайной опущенных век.

## ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ ОТКРОВЕНИЙ

*всё так же,  
как и двести лет назад...*

Откроешь дверь, и сумрачный подъезд  
всего на миг покажется прозрачным,  
и вязь перил чугунных, однозначно,  
раскатным эхо выразит протест

на громкий ор, сорвавший пустоту;  
на гам и шум, влетевшие случайно;  
на сладкий пар баранок в близкой чайной;  
над зёрнами – синичью суету;

на мерный гул колёс по мостовой;  
на дерзкий смех проказников-мальчишек  
в залатанности сношенных пальтишек;  
и похоронный бабий дикий вой;

на пьяный стон бродяги на крыльце;  
на шмыгнувшую с жирной рыбой кошку;  
на нищего, доевшего до крошки  
просвирный хлеб с блаженством на лице;

на острый выпирающий кадык  
голодного влюблённого студента;  
на мягкий «че» нерусского акцента;  
и зазывалы уличного крик...

И в этом всё, до глубины своей,  
почувствуешь щемящую знакомость,  
и благодатью ангельскою – кротостью,  
смиряющую буйствие страстей.



## Елена Белеванцева



Студентка филологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова. 23 года. В настоящее время живет в Москве, занимается творчеством В.В. Набокова, переводами датской поэзии и орнаментальной прозой. Ранние публикации: альманахи «Лицей-4» и «Лицей-5», сборник «Vivere est...», альманах «Квинтэссенция» (2008) и «Крылья» (2008).

**Из цикла «КАРПАТСКИЕ ЭСКИЗЫ»**

Пахнет незатейливо и просто:  
В домике готовится стряпня.  
Я дорожку выложу из проса  
До цветка прибрежного огня.

Сырость трав, росистые ожоги  
На босых обветренных ногах...  
В этом месте будто больше Бога.  
В этом месте отступает страх.

Пусть другие греются горилкой  
На рубце истасканного дня.  
У меня на шее бьется жилка  
Близ цветка карпатского огня.

**РАЗДЕВАЮСЬ**

Показать вам стриптиз эмоций,  
Отслоив пару чувств на пробу  
И развязно, почти по-скотски  
Обнажившись до самой утробы?  
Скинуть платьем тоску под ноги  
И послушать желанья плоти...  
Это только навскидку убого,  
Ну а кто-нибудь все же «уплотит».  
К черту вдов и унылых дервишей,  
Я для всех вас сейчас открыта!  
...Твои волосы пахнут деревом,  
Теплым деревом в час зенита.  
И пускай я слегка проштрафилась,  
Спутав стрелы Амура с дротиком.  
Ведь пока это – не порнография,  
А – немного совсем – эротика.  
Снять ли с тела чуть-чуть страдания,  
Запустить ли в толпу ностальгией?  
Или мыслью про радость недавнюю,  
Словно тоненькими бикини...  
Много ль, мало ли мне доверено  
Развлекаться пустым словоблудием?..  
...Твои волосы пахнут деревом,  
Остывающим в час полуночный.

**ЗВЕРИНЕЦ**

Легкий хлопок, толчок и стук  
колес под моими ногами,  
вибрируют стены, звук напряжен и туг.  
Трясущийся мир. Обычен. Привычен. Гадок.

Сидит, расставив колени, молчит о своем,  
глазами обшарила пестрые крики рекламы,  
облапала взглядом и снова уткнулася в сон.  
А я – повисла над ней, и в груди моей – пламя.

Что у меня болит: душа или зубы?  
Сковала сверлящая злость хлеще, чем цепи.  
Едут в метро не люди: макаки и зубры,  
толпами ходят, за поручни держатся цепко.

Едут в метро каменных джунглей наследники.  
Как хорошо, что мне выходить на следующей.

**МОЯ ЖИЗНЬ – ЭКРАН МОНИТОРА**

*Жизнь моя – черновик,  
на котором все буквы – созвездия.*

*Н. Турбина*

Моя жизнь – экран монитора на  
подъеме крутом эскалатора.  
Люди едут, спешат, поднимаются  
быстро и споро.  
Их лица – как поры, которыми дышит  
Город.  
Едут толпы людей, на минуту всего-то  
крылатые.

И еще моя жизнь – это женщина в форме  
бесформенной,  
что скрипучие кнопки в кабинке весь  
день нажимает.  
Эскалатор с одышкой везет расфуфыренных  
Манек.  
Их тела – это плоть, которой питается  
Город.

И бежит моя жизнь по торопким ступеням  
топорным  
от усатых неряшливых женщин и от  
мониторов.  
Эскалатор еще побряхтит, остановит  
нескоро.  
Мой бег – это жизнь, от которой пьянеет  
и Город.

### ПАСТЬ БЫ В ТЕБЯ ЛИСТОМ

Что же тут можно сделать?  
Руки мои вязать ли  
Или сшивать нити губ  
Суконными нитками?  
Шорами взгляд одеть ли,  
Сердцу сказать: «Озябни!..»,  
Нервы в струну натянуть  
В деке нутра гранитного?

Пасть бы тебе в ладонь  
Желтым сгоревшим листом  
В алых пропалинах жил,  
Пальцы твои щекотать.  
Только земной огонь  
Тянет из связок стон,  
Он же от лжи дрожит,  
Алым горит щека.

Вот бы ты почвой стал,  
Я бы в тебя легла,  
Ты бы меня качал,  
Мы бы родили дочь,  
Почку того листа,  
Что будет в мае – млад,  
А в октябре, лучась,  
Канет в твою ладонь.

\* \* \*

Вакханалия звука и света,  
Загибается, кружится ритм.  
От изжеванной ленты кассеты –  
К цифровым огонькам MP3:  
Дребезжит до утра дискотека,  
Пузырями в общажном котле  
Набухают и ретро, и техно,  
Брызжут жирные капли колен.  
И согретые пивом атлеты,  
Поминая такую-то мать,  
Извиваясь, все капельки эти  
Тщатся потной ладонью поймать.

Алчным алым засветятся губы  
Или матовым – масляный взгляд.  
Ей так хочется выглядеть грубой,  
А он хамом казаться бы рад...

...Дребезжит до утра дискотека,  
Выкипает в котле сок людской.  
А в общаге, пробравшись по стенке,  
Бабка роется в урне клюкой.

### ДЕСЯТЬ КАПЕЛЬ РОМАНТИКИ

Официант, мне, пожалуйста,  
Десять капель романтики,  
Пусть сегодня порадует  
Меня этот коктейль.  
Ты, бармен, не пожадничай,  
Отвлекись от прагматики,  
Взбей бурлящие радуги  
Из росы наших тел.  
Из слепого касания  
По виску пальцем бережным,  
Из дрожащего голоса  
И банальнейших слов.  
Из невинного самого  
И из самого нежного,  
Из кружащего голову  
Кружевного «любовь».  
И ладонь чтоб – под волосы,  
А не в брючную впадину,  
Чтобы мост с поцелуями,  
А не душный общаж.  
Чтобы мягкими волнами  
Поднимались и падали  
Все желания буйные,  
А до плоти пусть – шаг.

Официант, мне, пожалуйста,  
Десять капель романтики,  
Буду пить неразбавленной,  
Понемногу хмелеть.  
Лей, бармен, ибо жажду!  
Изопью ароматную,  
Свою душу побалую  
Один раз в сотню лет.

\* \* \*

Течет вода. Натужно воеет ветер,  
Натягивая солнечную нить...

А Женщина, когда одна на свете,  
Протянет руку – и начнет звонить.

Конечно, поначалу потоскует  
Да с кошкой ни о чем поговорит.  
Потом утрется. Крепко. Насухую.  
И взглядом отразит все фонари.

На кошку шикнет ласково и строго,  
Стряхнет с себя прилипчивую шерсть –  
И тихо тонким пальцем трубку тронет,  
И тихо спросит: «Может, хочешь есть?..»

И он придет – большой, живой Мужчина,  
И ложку затеряет в кулаке,  
И губы будут двигаться – большие,  
И сморщится рукав на пиджаке.

А ночью – одарит кошачьей лаской,  
А после – с сытой сладостью уснет,  
К ней благодарно и брезгливо лапастясь.  
А утром строго шикнет и уйдет.

Так было, и так будет в *нашу* Вечность,  
И ход вещей нельзя переменить...

Течет вода. Натужно воет ветер.  
А Женщина – опять начнет звонить.

\* \* \*

Какая вязкая тоска,  
какая тягостная скука:  
я, как пластмассовая кукла,  
сiju с румянами на скулах,  
а вместо рта застыл оскал.

И в сотый раз: ну как Москва?  
Ну как там цены, пешеходы?  
И как у нас, поди, погода?  
Бедняжка, как твои невзгоды?  
...тоска, смертельная тоска.

И в сотый раз – вопрос, вопрос...  
Валяйте, лезьте в мою душу.  
И всякий тянется послушать,  
что, несомненно, дома лучше  
и что в Москве сейчас мороз.

И в сотый раз все неважно.  
Ведь я для вас – всего лишь кукла,  
и, главное, гостинец куплен.  
Я не отвечу даже скупо,  
что на душе сейчас мороз.

## НИКОГДА

До острова Борнгольм  
Я добралась бы вплавь,  
Пересекая реки  
И жилистые почвы.  
Пусть он и пуст, и гол,  
Я жить бы там смогла,  
Бросаясь словом редким  
В заиндивелость ночи.  
На острове Борнгольм  
Я пела бы и пела,  
Или своим теплом  
Пригрела мшистость кочки.  
Тебе – была б слугой,  
Слугой душой и телом,  
Тепло б мое текло  
К тебе, легко и сочно.  
За островом Борнгольм –  
Балуя, ветер хохочет;  
Литая кромка льда,  
Резные зубья леса...  
И скудный мой огонь  
Твоих ждет пальцев очень.  
Так, где ж?! Нет, никогда  
Ты не придешь на песню...

## ВЁЛЬВА

Сегодня я, а завтра мне  
Уступят место в гробу троллейбусном.  
И кто-то, младше и сильнее,  
Меня землей укроет с песнями.

Зевок. Ладонь. Отверстый рот.  
Но мне не скучно и не страшно.  
Я знаю, что круговорот  
Опять зерно уронит в пашню.

И пусть рука еще дрожит,  
В кулак зажав слепое семя,  
Брюхатый мир нам вновь даст жизнь,  
Из жирных почв взойдут посевы.

## МУЗЫКА

Огрызок музыки, свистя, попал в затылок,  
Сок нот потек по шее ручейком.  
Лопатки, крупно вздрогнув, вдруг застыли.  
А горечь слиплась вся в горячий ком.

А музыка – она была прозрачна  
И чуть с горчинкой яблочного сна.  
Хотелось пить, смеяться и, дурачась,  
По-детски напрочь ничего не знать.

Искусно позабыть про все искусства,  
Про каменно-булыжное «судьба».  
А музыка кислила губы вкусно  
И косточкой хрустела на зубах.

### НА МЕЛЬНИЧНОМ КРЕСТЕ

Хочу быть распятой на тисовых лопастях мельницы,  
Взмывая по ветру, к магниту земли возвращаясь,  
Ничто не желать, не дерзать, ни на что не осмелиться,  
Забуть о любви и других человеческих шалостях.

Наверх полетят деревянные крылья размашисто  
И вниз устремятся озябшей бесчувственной ласточкой.  
Ветер по телу распятому плавно размажется,  
Станет один и ласкать, и лелеять, и ластиться.

Куда повлекут за собою скрещенные лопасти –  
Туда и качнусь, пригвожденная собственной трусостью.  
Давно уже вены, артерии веры полопались,  
А волосы – воздух окрасили прядями русыми.

...Река обмельчает когда-нибудь, встанет и мельница,  
Повиснут беспёрые крылья под спазму последнюю.  
А я – вдруг пойму, что мне нужно и должно осмелиться,  
И выдерну гвозди, и, спрыгнув, по тверди последую.

### НЕПРОЧИТАННЫЕ СТИХИ

Непрочитанные стихи уязвимее, чем нерожденные,  
Тонко костные, тонкорифмые, позабытые, несожженные,  
В бледном олове строк тетрадных,  
В тёмном ободке слов не красочных.  
Омертвелые, закосневшие, непрочитанные, неразгаданные,  
Раньше времени постаревшие, не обхваленные, не изгаженные.

Нерожденные – нетревоженные, в муках сладостных нетворимые,  
Тонкой пеною, легким кружевом всё к душе моей льнут, родимые.  
Непрочитанные – обездоленные, крепко загнанные в плен картоновый,  
Жизнью долгою мной наказаны, и без гласа вы, и без стога вы.

Непрочитанные стихи уязвимее, чем нерожденные,  
Эти дети слабы, тихи, в сердце самое пораженные.  
Много их, погребенных заживо,  
Неотлюбленных, неизгаженных,  
Непомарочных, неотчищенных...  
Почитать своих, непрочитанных?

Наталья ВЕСЕЛОВА



*Родилась в с. Скумпия Фалештского района.  
Окончила Кишинёвский строительный техникум и Политехнический институт (1980).  
В настоящее время работает архитектором.  
Стихи начала писать еще в школьные годы.*

### ГНОМИК

У нас на даче  
Завёлся гномик.  
Он так чудачит,  
Он просто комик!

Он для Алёнки,  
Хозяйки дога,  
Привёл котёнка,  
Совсем чужого.

Покрасил краской  
Цыплёнка квочки.  
Она кудахчет:  
Где мой сыночек?

Пока сестрёнка  
Играла с нами,  
Связал косички  
Ей со шнурками.

Собрал малину  
И съел крыжовник.  
Ах, этот гномик!  
Проказник гномик!

Когда же все в доме,  
Были измучены,  
То шутками Гнома  
Над ним же подшучивали.

### ЁЖИКИ

Лесные ёжики решили стать портными  
И сшить зайчихам кофточки цветные.  
Журналы мод по почте получили,  
По выкройкам и ткани раскроили.

И вот детали будущей одежды  
Лежат в кустах, внушая им надежды.  
Осталось только сшить со спинкой полки,  
Но нет у ёжиков простой иголки.

Грустят зайчихи – нет у них обновы,  
Не удивят зверей нарядом новым.  
И невдомёк им, глупым, что иголки  
В больших количествах растут на ёлке.

### ОЛИМПИАДА ЗВЕРЕЙ

Олимпиада у зверей.  
Играют зайчики в хоккей.  
Они ловки и так быстры,  
Они прыгучи и шустры.

Ну кто сказал, что заяц трус?  
Он обманулся, ну и пусть.  
Идут ушастые в атаку,  
Мелькают клюшки, шлемы, лапы!

Прорезав синий лёд коньками,  
За шайбою кося глазами,  
К воротам вырвался игрок,  
Но шайбу он забить не смог.

Вратарь собой закрыл ворота,  
Отбил красиво — это что-то.  
Его противник тут как тут.  
И вот уж белые ведут.

Друг другу пасы отдавая,  
Все время шайбу отбивая,  
Играют зайчики в хоккей:  
Олимпиада у зверей.

### ВОЛК-БИАТЛОНИСТ

В феврале зима нежна.  
Впереди бежит лыжня.  
Лихо едет с горки вниз  
Серый волк-биатлонист.

Не легко ему в пути,  
Ещё круг ему идти.  
Впереди чужие лыжи  
Где-то метрах в десяти.

Голос тренера он слышит:  
Поднажми! Несись вперёд!  
Цель объехать эти лыжи  
Силу волку придаёт.

Вот стрельба. И всё в десятку.  
Не подвел наш чемпион!  
Он не зря сменил рогатку  
На любимый биатлон!

### МАРТЫШКА-СПОРТСМЕНТКА

Я спортсменка. Я мартышка.  
Очень смелая малышка!  
Каждый день встаю я рано,  
Каждый день бегу так рьяно!  
Каждый день на тренировках  
И поэтому так ловка!  
Я фигуру не теряю  
И чуть-чуть недоедаю.

Мне себя совсем не жалко:  
Тридцать раз я на скакалке.  
Тридцать раз я наклоняюсь.  
Тридцать раз я отжимаюсь!  
А потом спешу на брусья  
И на них летать учусь я.  
Вслед за тем идут растяжки  
И пробежки, и отмашки.

Я леплю себя, как будто  
Состою из пластилина.  
Вся моя фигура будет  
Как податливая глина.

Вверх, прыжок в три оборота,  
Моё тело мне подвластно!  
И моей ошибки кто-то  
Ждёт напрасно! Ждёт напрасно!

### БОРЦЫ СУМО

Борцы сумо Гиппопотам и Слон  
Теснят друг друга мощными телами.  
Болею за Слона! Мне ближе он!  
Он нашу дружбу подтверждал делами!

Мы с ним в одном зверинце с детских лет.  
Друг защищал меня от крокодила!  
А радость от заслуженных побед  
У нас по дружбе на двоих делилась!

А Слон в ударе! В схватке он ведёт!  
И пот, как сотня звёзд, блестит на коже.  
И я шепчу: ну пусть ему везёт –  
Победа друга для меня дороже!

### ВЕСЕЛЫЕ ГИМНАСТКИ

Гимнастки-мартышки  
На брусьях летают.  
Гимнастки малышки  
Испуга не знают.

Как пригодились  
Им тренировки!  
Все удивились,  
Как они ловки!

Как накачали  
Они свои руки!  
Брусья качались  
От этих трюков!  
С бруса на брус  
Перелетая,  
Будто совсем  
Не уставая,  
Вдруг от толчка  
Вверх устремились!  
Это же надо,  
Как научились!

Прогиб красивый!  
Тянут носок!  
Чёткий и сильный  
Вышел соскок!

Звери в ударе:  
Ай да малышки!  
Дайте медали  
Этим мартышкам!



Нина ГАНЬШИНА

*Продолжение. Начало в № 3*

## ТОПОЛЯ КОРНЯМИ ВВЕРХ

«И если мы еще здесь, на земле, то мы должны за них дожить».

А. Ким «Белка»

### НАСТУРЦИЯ

**В** Кишиневе бабушка и дедушка работали в училище виноделия и виноградарства. Это старейшее учебное заведение основано в 1842 году. В 1900 году училище окончил Н.К. Могиланский – профессор, доктор технических наук. Учились здесь и другие будущие видные ученые. Здесь до сих пор работает младший сын дедушки – Николай. (...)

Меня привезли в Кишинев через шесть месяцев после моего рождения. И самые счастливые детские годы я провела в этом доме, вокруг которого раскинулся парк, а сразу у крыльца начинался сад, где росли грецкие орехи, черешня, вишня, слива и множество цветов. Я любила тюльпаны, нарциссы и розы. А бабушка – настурцию. Она говорила мне: «Ты посадишь потом настурцию и будешь помнить обо мне». Словно бабушка моя тогда уже знала, что мне предстоит жить в далекой и холодной Чите, где не растут мои любимые тюльпаны. А настурцию я всегда выращиваю на даче.

Моя бабушка – Нина Ивановна Ганьшина – родилась в Туле. Ее мама, Иконникова Мария Васильевна, родилась 8 февраля 1855 года и скончалась в возрасте восьмидесяти лет в 1935 году. У нее были брат и две сестры. Одна из сестер – Рыжкова Нилаша – родила двенадцать детей. (...)

Отец моей бабушки – Иван Николаевич Ганьшин – тоже из Тулы. Работал бухгалтером у купца – а значит, был образован. Умер рано. И я совсем ничего не знаю о его жизни. У Марии Васильевны и Ивана Николаевича родилось семеро детей. Дочь Ольга работала завучем в школе и отличалась большой рассеянностью. Однажды пришла в школу без юбки, ужасно смутилась и убежала домой. Но была умна, начитанна. Замуж так и не вышла, и ребенка не родила. Дочь Серафима тоже работала сначала учительницей, а позднее – библиотекарем. Красавица Елена, вернувшись с войны, учиться не стала, вышла замуж, родила четверых детей и работала продавщицей. Ее дочку Лину Курганову я помню – она часто приходила к нам в гости в Кишиневе. Антонина окончила педтехникум, вышла замуж, работала учителем, а потом завучем. Муж ее погиб под Ленинградом. Она часто приезжала к нам в Кишинев – необыкновенно умная, тактичная, интеллигентная женщина. Мы как-то шли с ней в дождь через виноградник, и я наступила на бумажный рубль (для того времени – целое богатство!). Рубль прилепился к моей подошве. Тетя Тоня окликнула меня, отцепила рубль и дала мне, хотя я считала, что ее находка. «Но он же был на твоей ноге!» – ответила она. Наверное, пустяк. И история смешная. Но запомнилась. Антонина писала стихи. (...)

От писем Антонины до сих пор веет жизнью. Где-то в Москве живет, я надеюсь, дочь ее Надя. Она работала в метро. У Нади двое детей, но я не знакома с ними. Наверное, у них уже тоже есть дети, то есть они – москвичи в третьем поколении. И вряд ли помнят прабабушку Антонину Ивановну и ее маленький домик в Побединке Скопинского района Рязанской области.

Сын Ганьшиных Вячеслав вернулся с войны в генеральском звании. Я хорошо помню его. Когда мы с бабушкой приезжали из Кишинева в Москву, то обязательно ездили в гости к дяде Славе. Он был невысоким и полноватым, удивительно дружелюбным, веселым, умным. Одна из комнат его квартиры заставлена была книгами, а на книжных полках висели кресты, штандарты и другие военные реликвии. Он разрешал мне их трогать и рассматривать. В другой комнате стоял крошечный телевизор, а перед ним – емкость с водой, увеличивающая изображение. Своих детей у Вячеслава Ивановича и Елизаветы Николаевны не

было, они удочерили девочку Наташу. Похоронили дядю Славу на Новодевичьем кладбище.

Второй сын – Николай – знаком мне только по фотографии. Говорят, что я похожа на него. Он погиб в 1942 году под Харьковом, пропал без вести. Мама моя увидела во время войны сон, как шла колонна уставших людей и среди них – дядя Коля. Она бросилась к нему, но он остановил ее: «Ко мне нельзя, нельзя!» «И закопали его живым в землю», – ответила Библия на вопрос о его судьбе. Может быть, было именно так. Мы не знаем, где его могила. В Музее на Поклонной Горе мы узнали, что погибло на войне три человека с именем Николай Ганьшин. Николай – любимый бабушкин брат. Она тосковала по нему всю жизнь. Его вдова Анна Васильевна писала мне о нем: «Коля кончил среднюю школу, работал в стеклографии, позже уехал в Москву к Славе, работал в музее Советской Армии. Писал мне письма, что и в Москве таких девушек нет. В 1930 г. приехал в отпуск и остался совсем, в этом же году мы поженились. Он работал в садово-огородном техникуме лаборантом, позже в горном техникуме, где он вступил в партию. Началась война, его перевели литработником в местную газету, а вскоре зам. редактора, а потом редактором. На фронт его партмобилизовали. В школьные годы он сломал руку, в армию его не брали. В войну посылали в Горький учиться на пулеметчика. Проучившись месяц, пошел ополченцем в гвардейскую часть на Западный фронт, а потом под Харьков, где он погиб в 1942 г.». У них родилась дочь Нина. Я знакома с ней и с ее дочкой. А потом Анна Васильевна прислала мне фотографию своей правнучки. Наверное, она уже взрослая и переехала из Мытищ в Москву.

Вот в такой семье родилась моя бабушка. Из Ганьшиных не осталось никого. И поэтому, когда училась в Москве, я записала в своем дневнике: «Мой псевдоним будет – Ганьшина». (...) До учебы в Москве бабушка моя тоже училась. И работала. Я не знаю, училась ли она в школе или в гимназии. Но в 1917–1918 годах работала она в полевых хозяйствах г. Скопина работницей. Так что трудовая биография началась рано – в семнадцать лет. Потом она несколько лет работала машинисткой, а в 1923–1926 годах училась на рабфаке в Туле. В Академию поступила сразу после рабфака. Преподавала в разные годы ботанику, микробиологию, химию, географию, русский язык, историю СССР как в школах, так и в техникумах Скопина, Путивля, Белева... Некоторое время была директором школы в Чите.

Последнее место работы – училище виноделия и виноградарства в Кишиневе. Ее курс лекций по микробиологии виноделия пользовался большим успехом у студентов. По просьбе преподавателей она дала им почитать свои конспекты, несколько тетрадок (они все теперь у меня). Результатом чтения стало издание учебника, но на обложке не было имени моей бабушки. На первой странице – дарственная надпись: «Глубокоуважаемым супругам Поволочко от автора. 23/IV – 1966 г.» Тексты рукописный и печатный можно сравнивать почти дословно. Но у бабушки в рукописи видна работа мысли: зачеркнутые, исправленные или недописанные слова, вставки ручкой и цветными карандашами. Отголоски этой истории я слышала в детстве, однако бабушка никогда не жаловалась и не рассказывала мне об этом прямо. И лишь гораздо позже, когда ее не стало, дедушка, отдавая мне тетрадки и учебник, рассказал эту историю. Один из авторов жил с нами в одном доме. Ах, как долго ждал он своей очереди, чтобы реанимироваться в истории!

Он работал в те годы над докторской диссертацией и, наверное, наши игры с громкими криками отвлекали его от трудов – он так и не сумел дописать свою научную работу. Нас было четверо – я, мой брат и двоюродные брат и сестра. Этого было достаточно, чтобы перевернуть весь дом, что мы и делали, подсознательно чувствуя ложь и зло нашего соседа. Мы бегали под его окнами в белых простынях, изображая привидение. Мы крутили бабочку звонка на входной двери. Мы заталкивали в дыру, сделанную для проведения теплоцентрали, котенка в его квартиру. Наконец, однажды мы вторглись на его территорию – запретную веранду, где стояла на столике мешанская ваза с восковыми фруктами. Он вернулся неожиданно. Я ощутила ужас, увидев его – высокого, разъяренного, в белом костюме. Братья повыскакивали через перила, сестра громко закричала, а я, конечно, гордо стояла посреди террасы. Он ударил меня с такой силой, что, пожалуй, я помню этот удар до сих пор. (...)

## МИР ЗА ВЫСОКОЙ ГОРОЙ

...Маленькое село на краю земли, в Забайкалье. Александровский Завод. Интересно, какой Александр строил здесь свой завод? Нетотли, кто благодарил за доблесть братьев Субботиных?

Как бы там ни было в давней истории, – а сейчас я возвращаюсь мысленно не очень далеко – в свое детство у бабушки и дедушки в Алек-Заводе. Наш дом – самый крайний. За ним – зеленая трава, лес, цветы, ягодные полянки. Мы сидим на крыше дома с моей тетей. Тетя старше меня на несколько месяцев, и четвертый класс мы заканчивали, сидя за одной партой. Фамилии у нас одинаковые, потому что она – младшая сестра моего отца. И мы договорились не рассказывать одноклассникам об истинном нашем родстве и потому всем говорили, что мы сестры. Мы сидим на горячей от солнца крыше и мечтаем о дальних странах. Я-то уже летала в Кишинев, в городе живут мои родители. Но мне так приятно помечтать вместе с моей тетей, которая говорит мне шепотом: «А вот за той высокой горой ничего нет». Эта гора возвышается за речкой. Когда спускается солнце, склон ее темнеет, а на самом верху четко выделяются на светлом небе столбики памятников на могилах. Там кладбище. Там похоронена моя прабабушка Минсылу. (...)

Прабабушка моя, лежащая в могиле на вершине горы, родилась на Волге, около Казани. В ее метрике записано, что в 1876 году в семье Валея и Латифы Галеевых родилась дочь Минсылу Валеева. В том же селе Гулюково Мензелинского района она вышла замуж, и в 1910 году родилась Камал Гареева – моя будущая бабушка. В этом же селе в 1904 году родился мой будущий дедушка – Шаих Ахметов. Бабушка моя была из более обеспеченной семьи, чем дедушка, но рано вышла замуж, и вот 21 января 1931 года у них родился первый сын – мой будущий отец – Дуфар Ахметов. (...)

## ДОЛГОЕ ДЕТСТВО

Первым вылетел из гнезда мой отец. Ему хотелось покорить мир быстро и решительно. Но мореходное училище оказалось не тем местом, где суждено ему было применить молодые силы. Он поступил на филологический факультет педагогического института в Чите. Через год на этот же факультет поступила моя мама – Мария Поволочко. Они встретились, наконец. Юный папа был очарован сероглазой девушкой с волнистыми светлыми волосами. Мама поступила мудро, ответив взаимностью, несмотря на успех у противоположного пола. Что привлекло ее в деревенском мальчике в старых отцовских галифе и в военных японских сапогах, уже сильно ношенных? Что привлекло ее в мальчике, у которого не было денег на свадебный костюм, а не то что на подарок? Какое шестое чувство подсказало ей, что она делает правильный выбор?

Моему отцу пришлось быть старшим мужчиной в доме, едва ему исполнилось девять лет, потому что ушел в армию дедушка – его отец. И бабушка сшила своему старшему сыну кисет для махорки. Так он, босоногий девятилетний мужчина, – шагнул из детства во взрослую жизнь. Работал он волокушником, штурвальным, конюхом, прицепщиком. Летом они с бабушкой возделывали огород, собирали в лесу грибы и ягоды. И все-таки отец окончил среднюю школу вовремя. Окончили школы и институты все девять бабушкиных детей.

Родители мои поженились. И стали жить сначала в том самом доме, окна которого выходили на тополиную аллею, а потом, когда мамы родители уехали в Кишинев, переехали в студенческое общежитие. Туда и принесли из родительного дома меня. Стояла зима. Январский мороз.

Через полгода начались у мамы государственные экзамены. Мама получила «четыре» по педагогике, хотя в ее зачетной книжке за все годы обучения стояли лишь «пятерки». Папа, держа меня на руках, ходил под окнами аудитории, где мама сдавала экзамен строгой комиссии, лишившей ее «красного» диплома. Она получила «хорошо» по педагогике, а потом несколько десятков лет преподавала этот предмет в том же самом ин-

ституте, заведовала кафедрой педагогики и защитила докторскую диссертацию тоже по педагогике.

После окончания мамой института мы все трое поехали в Кишинев, в гости к бабушке и дедушке. Как мои бездумные родители добрались на поезде до Кишинева? Уму непостижимо. Но я этого не помню. Лишь многочисленные фотографии подтверждают этот факт. Мы сидим и стоим на крыльце большой веранды старого дома с красной черепичной крышей. До истории с этой верандой осталось несколько лет. А в то время она была еще общей, ее не отгородили жадные соседи.

Мама начала работать в школе. Отец тоже какое-то время поработал учителем. Но вскоре его избирают вторым, а затем первым секретарем Центрального райкома комсомола. Теперь мы живем в деревянном доме. Я его тоже не помню, но знаю, где он находится. Рядом с этим домом жил Николай Савостин, ставший впоследствии известным поэтом и уехавший (вот ведь странно!) в Кишинев. И мне бы очень хотелось, чтобы он стоял у моей колыбели, как это обычно пишут в романах. Это же такой замечательный символ – известный поэт у колыбели ребенка. Ах, кто же вырастет из этого ребенка? Но ведь и вправду мне посчастливилось учиться в докторантуре Литературного института имени А.М. Горького!

Отец ходил за водой на колонку, колот во дворе дрова... Через некоторое время мы переехали в коммунальную квартиру. Этот дом и нашу единственную комнату я помню. К тому времени у меня родился брат. Он родился в Кишиневе. Иначе и не могло быть. Кишинев – это тоже некий символ, только индивидуальный, личный. Мы жили в комнате впятером, потому что с нами жила еще младшая папина сестра. Наверное, эта комната – мои самые первые воспоминания в жизни. Справа от двери – комод. На комод – я. Я лежу на пеленках, раздетая, после купания, меня смазывают кремом. Я кричу и плачу от холода, от страха и ... от стыда. Ведь я безо всякой одежды, мне стыдно и хочется скорее укрыться. Но взрослые недовольны, им не нравится мой крик. По-моему, это первое в жизни непонимание и противостояние закрепилось во мне и стало главным в моем характере. «...»

Отец после комсомольской работы и окончания ВПШ в Москве избирается первым секретарем Центрального райкома партии, а через десять лет – заместителем Председателя Читинского областного исполнительного комитета по социальным вопросам. Мама работала после окончания института в школе – сначала учителем русского языка и литературы, а затем – завучем. В то время, когда отец учился в ВПШ, она тоже училась в аспирантуре в Москве. Именно в это время, ставшее для меня счастливым, я и жила с братом в Кишиневе, у бабушки и дедушки. После аспирантуры, защитив диссертацию, мама начала работать в институте. Это лишь простое перечисление основных вех жизни моих родителей. Но жизнь каждого из них – постоянная и бесконечная самоотдача и самопожертвование. И о каждом из них можно было бы написать отдельные книжки.

...А мое собственное детство затянулось. Долгое детство. Детство, вместившее в себя те годы, которые отобрала война у моих родителей.

## ТОПОЛИНАЯ АЛЛЕЯ

Мы живем недалеко от той улицы, где стоит до сих пор дом, в котором жили мои родители, едва поженившись. И тополя на этой улице тоже растут до сих пор. Старые высокие деревья. Когда я хожу по аллее, они скрипят, словно силятся сказать мне что-то важное.

Однажды утром я не узнала свою аллею. От высоких тополей остались жалкие обрубки, которые вскоре обросли странными, словно кудрявыми, побегами. Побегии эти зазеленели и стали походить на шар из листьев. А зимой казалось, что тополя неожиданным образом стали расти вдруг корнями вверх. Тополя корнями вверх. В этом был тоже скрытый смысл. Я поняла, что должна успеть рассказать о своей семье, пока не исчезли последние свидетели их жизни, — деревья на тополиной аллее. Мне кажется, что корни их, вынутые из земли, – это мои предки.

Наталья СИНЯВСКАЯ

**ДОМ НАПУГАННЫХ ПРИЗРАКОВ**

**П**очему мы так любим ворошить опавшие листья? Словно выбрасываем на поверхность приятные воспоминания... или не совсем приятные. Вот и тогда я шла, шаркая, чтобы задеть те листочки, что прилипли к асфальту. Начался дождь. Обычный заунывный осенний дождь. Я люблю такой дождь, под него хорошо мечтается, но лучше мечтать в тепле. Он-то, этот дождь, и загнал меня в Художественный музей, а вернее, в дом, похожий на настоящий дворец, украшенный лепниной, с высокими окнами и потолками... Когда же это было?! Когда воспоминаний-то и не было накоплено? Или не хотелось их ворошить? Впрочем, не так уж давно: музей из-за отсутствия средств на ремонт здания в 1995-м переехал в другой «дворец» – на улицу 31-го августа, но тоже в дом № 115 (совпадение?), туда, где еще совсем недавно располагался Музей истории Компартии Молдовы.

Картины на старых стенах, скульптуры... А ведь здесь когда-то висели другие картины. И другие люди на них смотрели. Здание было построено в 1905 году. И с тех пор к нему накрепко приклеилось «дом Херца». Улица Александровская (Штефана чел Маре), 115. «Здесь есть призраки. Они приходят в комнату, которая раньше была молельней. А еще любят посидеть в зимнем саду... собственно, его нет, но он же был. Я бы тоже туда приходила» – шепнула пожилая работница музея. «Жаль, подумалось мне, что у нас не принято устанавливать скамеечки или стулья. Я бы грелась, пережидая дождь, смотрела бы на картины, и – кто знает – может, мне бы улыбнулся кто-то из здешних призраков».

Кем же был этот Херца (оказывается, его фамилия заканчивается на букву «а»), что построил дом? Недавно отыскала его биографию. Политик, юрист. Имя – Владимир. Родился 14 мая 1868 года в семье титулярного советника Константина. Их семья происходила из немецких колонистов, и в фамилии Владимира была приставка «де», с годами она «затерялась».

Сын титулярного советника рано женился, причем, без согласия отца, и отправился в Италию, где стал... бродячим певцом. (Интересно, те призраки поют?!). Позже, растратив отцовское наследство (и когда он только умудрился это сделать?!), обосновался в Румынии, где занялся адвокатской практикой. Здесь-то он себя и проявил в качестве политика. В 1917 году он становится вице-председателем Национальной Молдавской партии и Молдавского общества культуры. Уже в Кишиневе в 1919-м Владимир при поддержке знатных кишиневцев образует Румынскую лигу Бессарабии. Занимал он и должность председателя Земства Оргеевского уезда, был первым председателем Комиссии молдавских школ и даже примаром Кишинева в трудные годы – 1918–1919. Умер Владимир Херца 3 августа 1924 года. Может, он умер в том самом доме, который успел построить, отвлекаясь от политических игр?! А ведь именно хозяин дома настоял, чтобы устроили молельную комнату, где, наверное, просили у Бога здоровья жена и дети Херца. Впрочем, опять неизвестно, а были ли у него дети?! И чьи же это образы являются в музее?

Вот уж и дождь закончился. Странно для осени, если быстро перестает лить. И пора идти. Обязательно зайду еще раз сюда. Но – увы – не получилось: дом Херца закрыли на реставрацию, которая длилась больше 10 лет. И хотя дом, как новенький, экспозицию еще не устроили, и дом с призраками по-прежнему закрыт. Да и неизвестно, выжили ли призраки: долгое время дом Херца стоял заброшенным, а потом еще строители, реставраторы... вдруг вспугнули.

Не исключено, что призраки – вовсе не семья политика и не сам Владимир Херца. Могли же переселиться сюда те, кто жил здесь ранее. Да, как выяснилось, на месте дома Херца еще в 1830-х годах городской архитектор О.Гаскет возвел одноэтажный дом. Известно, что в 1845 году им владел Иоргу Балш. В 1903-м владельцем стано-

вится наш Владимир, который сносит произведение Гаскета и выстраивает другой дом, что в целостности и сохранности «дожил» до наших дней. Предполагают, что настоящее произведение архитектурного искусства создал Генрик Лонски. Называют этот стиль венским барокко, а еще специалисты отмечают богатое оформление фасада. Это и так видно, что богатое. Внутри – не хуже. Кстати, в доме была устроена подпольная система отопления.

Хорошая у дома Херца судьба, кроме, конечно, 1990-х – годов забвения. В 1939-м скульптором и художником Александру Плэмэдялэ (автор памятника Штефану чел Маре) и его соратниками был основан Ху-

дожественный музей в Кишиневе. Основатели музея сами принесли свои картины и работы для создания фонда. Но с началом войны картины эвакуировали в Харьков. Второе рождение музея состоялось уже в ноябре 1944 года, когда в доме Херца выставили привезенные из Москвы: 51 картину, 5 скульптур и 49 графических работ. И зажили они мирно – работы творцов и призраки дома Херца. Дом опять стал принимать гостей. А пока я шуршала где-то листьями, поднимая пыль, коллекция музея накопила более 30 тысяч экспонатов. Но они уже живут в другом доме. Может, когда-нибудь вернуться под крышу наших неугомонных Херца?

#### Адреса торговых точек

т/ц	ЭЛАТ	бут.83	ул. Дечебал, 99
к/ц	СОЮЗ	бут.7	ул. А. Руссо, 1
супермаркет	ФУРШЕТ		ул. Каля Ешилор, 10
супермаркет	ФУРШЕТ		ул. Московский проспект, 19
супермаркет	ВИКТОРИЯ-ГОЛД		ул. Миорица, 11
супермаркет	ВИКТОРИЯ-СУПЕР		ул. Н. Костин, 65

#### Adresa chioșcurilor și tarabelor SRL „Omniapresa”

Nr.	Chioșc	Adresa
1	1	bd. Dacia, 1
2	2	str. Calea Ieșilor, 2
3	3	Independența, 20
4	4	bd. Dacia – str. Cuza Voda
5	6	sos. Hâncești, 32
6	7	Casa Presei
7	8	str. Alba Iulia – str. Onisifor Ghibu
8	9	str. Calea Ieșilor, 5
9	11	str. Independenței, 14/1
10	12	str. Alba Iulia, 87
11	13	str. Pușkin – str. 31 August 1989
12	14	str. Aleco Russo, 59
13	17	str. Vieru, 13
14	19	bd. Dacia, 9
15	20	str. I. Gagarin, 5
16	21	str. Piața Unirii, 1
17	22	str. V. Alecsandri – str. Alexandru cel Bun
18	23	str. Alba Iulia, 196
19	24	str. M. Costin – bd. Moscovei

Com. 9213

Î.S. Firma editorial-poligrafică "Tipografia Centrală!

MD-2068, Chișinău, str. Florilor, 1

Tel. 43-03-60, 49-31-46